

В. Кормилицын



ДЕРЖАВА

16+

Валерий Кормилицын
Держава. Том 3

«ЛитРес: Самиздат»

2016

Кормилицын В. А.

Держава. Том 3 / В. А. Кормилицын — «ЛитРес: Самиздат», 2016

Третий том романа-эпопеи "Держава" начинается с событий 1905 года - года Джека-потрошителя, как назвал его один из героев книги. Девятого января совершилось кровопролитие, вошедшее в историю как "Кровавое воскресенье". По-прежнему продолжалась неудачная для России война, вызвавшая революционное брожение в армии и на флоте - вооружённое восстание моряков-черноморцев в Севастополе. Набирал силу террор. Были убиты эсерами великий князь Сергей Александрович, московский градоначальник граф Шувалов, бывший военный министр генерал-адъютант Сахаров... Кровь... Кровь... Кровь... Но жизнь продолжалась. В 1906 году революционная волна пошла на убыль. Весной этого года начала работать Первая государственная Дума. С приходом на должность председателя Совета министров П. А. Столыпина начался бурный экономический подъём. Так же бурно протекали жизненные перипетии братьев Рубановых - Акима и Глеба. Показаны их армейские будни, охота в родовом поместье Рубановке и, конечно, любовь...

© Кормилицын В. А., 2016

© ЛитРес: Самиздат, 2016

Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.	63
2	

ДЕРЖАВА будет, пока есть в
людях вера православная. Как
не станет веры, рухнет и
ДЕРЖАВА.

о. Иоанн Кронштадский.

Побеленный снегопадом и лёгким морозцем огромный барский дом с вальяжно расположившимся на крыше белоснежным сугробом, гордо стоял неподалёку от покрытого снежным настом склона горы, плавно опускавшейся к замёрзшей Волге.

В полдень первого дня 1905 года, развесёлая компания заночевавших в доме окрестных помещиков с гиканьем, свистом и хохотом мчалась на тройках по укатанной, серебряной от солнечных лучей дороге в сторону рубановской церкви.

Помолившись и испросив у Господа милости в наступившем году, понеслись в тепло дома продолжать отмечать Новогодье.

Отложив дела и заботы на завтра, вся Россия, от последнего крестьянина до самодержца, встречала наступивший год.

Год Джека-Потрошителя, как оговорившись, назвал его один из гостей Акима Рубанова.

Вечером этого праздничного субботнего дня император, оставив на короткое время жену, прошёл в кабинет: праздник – праздником, а дисциплина – дисциплиной, и записал в дневнике: «Да благословит Господь наступивший год, да дарует Он России победоносное окончание войны, прочный мир и тихое, безмятежное житие!..» «Господи, – перекрестился на икону, – как хорошо, когда всё тихо и благолепно... Когда рядом жена, дочери и сын не болеет, – пройдя по кабинету, вновь сел за стол и дописал в дневнике события прошедшего дня: «Погулял. Отвечал на телеграммы. Обедали и провели вечер вдвоём. Очень рады остаться на зиму в родном Царском Селе». – Почему-то в последнее время разлюбил Петербург, – прочитав написанное, прилежно поставил пропущенную точку. – А ведь на завтра назначена встреча с двумя министрами и приём какой-то делегации, как доложил флигель-адъютант. А сейчас – поцеловать супругу и спать», – зевнул он, по-крестьянски перекрестив рот.

Воскресным днём, в то время как российский самодержец принимал в Царском Селе делегацию, отец Гапон с блаженной ухмылкой дирижировал полутысячным хором в Нарвском отделе общества.

– Тетявкина вон! Тетявкина вон! – скандировали рабочие, в такт словам, притопывая ногами.

Взобравшись на помост, дабы возвышаться над безликой толпой, священник поднял вверх руку, требуя тишины.

Словно по команде хор затих, и сотни глаз благоговейно уставились на человека в чёрной рясе. Озарённый ореолом поклонения Георгий Гапон, перекрестив себя и собравшихся, негромко произнёс:

– Дорогие братья!

В наступившей тишине его голос слышали в самом дальнем углу просторного зала. Глаза с обожанием глядели на своего вождя. Уж он-то не даст их в обиду.

– Дорогие братья. Мы не бросим в беде наших товарищей...

Поблаженствовав от аплодисментов, вновь поднял вверх руку и продолжил:

– Вы знаете, что перед Новым годом мастер Тетявкин безосновательно уволил четырёх рабочих. Двадцать седьмого декабря мы избрали три депутатии, отправив их с нашими тре-

бованиями к директору Путиловского завода Смирнову, к главному заводскому инспектору Чижову и к градоначальнику – генералу Фулону, – внимательно оглядел безликий зал. – Двадцать восьмого декабря я возглавил делегацию рабочих из девяти человек и лично беседовал с градоначальником. Он клятвенно пообещал сделать всё, что в его силах, чтоб администрация восстановила рабочих и уволила их обидчика...

– Тетявкина вон! Тетявкина вон! – заблажили собравшиеся.

– На хрен его! – перекричал собрание стоявший в последних рядах чуть выпивший Гераська, в ту же минуту ужасно захотев выпростать забившийся нос.

Зажав уже ноздрю большим пальцем, уразумел, что по сторонам от него, в надвинутых на глаза кепках, стоят ни абы кто, а, яти иху мать, гордые буревестники – Шотман с Северьяновым.

– Кто этот Тявкин будет? – не слишком уважительно ткнул локтем Гераську Северьянов, отчего тот чуть не порвал ноздрю ногтем большого пальца.

– Ну-у, – убрал от греха руку за спину, – не Тявкин, а Тетявкин. Мастерюга продажный. Враг рабочего класса...

– И трудового крестьянства, – закончил не совсем трезвую пролетарскую мысль Шотман, со своей стороны толкнув Гераську плечом. – Чего гудишь как токарный станок?

– Ты лишнее внимание к нам не привлекай, – поддержал друга Северьянов.

Дришенко хотел намекнуть старшим товарищам, что они сами привлекают к себе внимание, находясь в помещении в кепках, но не решился.

– А вон и Муев шкандыбает, – шёпотом сообщил он.

– Давно пора этому меньшевику морду отполировать, – плотоядно скрипнул зубами Шотман.

Тот, на своё счастье не заметив бывших соратников по партии, пробивался в первые ряды поближе к отцу Гапону, громогласно уже вещавшему:

– Другая делегация в тот же день посетила Чижова. Её возглавил журналист Архангельский. Он складно умеет говорить... Но инспектор начал язвить: почему это, дескать, рабочую делегацию возглавляет корреспондент... И нагло сообщил, что оснований к недовольству у рабочих нет. Конфликт раздут несознательными тружениками, которые часто заявляют разные вздорные требования из-за того, что мастер иногда назовёт кого-либо дураком и тому подобных пустяков.

– Са-а-ам дурак! – забывшись, завопил Гераська, получив с двух сторон чувствительные тычки локтями.

Переждав неуместный, по его мнению, смех, оратор, откашлявшись, продолжил:

– Директор в этот день депутацию не принял...

Юный Дришенко набрал воздух в лёгкие, дабы прокомментировать сие деяние директора, но кислород моментально был выдавлен стоящими по бокам товарищами.

Видя, что лик его покрылся небесной синевой, большевики ослабили давление на пролетариат.

– ...Но 29 декабря Смирнов всё же принял делегацию и вот что написал по этому поводу в расклеенных по стенам мастерских объявлениях. Мне тут дали одно, – потряс листом и начал читать: «Вчера, 29 декабря, – это он тридцатого велел на заборах расклеить, – оторвался от чтения Гапон, – ко мне заявила депутация из четырёх лиц, наименовавшими себя уполномоченными членами «Собрания», – оглядел внимательно слушающих его рабочих. – Цель свою депутация объяснила: обратить внимание на неправильные действия одного мастера нашего завода, которые выразились будто бы в неправильном увольнении четырёх рабочих. Мною было указано депутации, что я считаю её заявление малоуместным, и что разбор претензий рабочих должен, прежде всего, проводиться на самом заводе по заявлению самих рабочих, а не по заявлению учреждения, постороннего заводу».

– Это мы посторонние? – как-то ловко и незаметно набрав воздух, завопил Гераська.

– Дурень! – ткнул его на этот раз уже кулаком Северьянов. – Кричи по слогам: «Путиловцы!»

– Путиловцы! Путиловцы! – следом за Гераськой стало скандировать благородное собрание, весьма удивив этим инициатора и примирив с ударом кулака.

Он даже горделиво выпятил грудь, не решившись, однако, наполнить её воздухом.

– А теперь ори: «Стачка, стачка...» – велел Шотман.

Душа юного пролетария буревестником воспарила к потолку, когда весь зал подхватил его слова.

Гапон поднял руку, успокаивая собрание.

– Братья. Я с вами, – под гром аплодисментов произнёс он. – И выдвинем ряд дополнительных требований к администрации, – перекричал овации, не в силах уже их остановить. – А если в течение двух дней Смирнов требования не удовлетворит, то подключим к стачке другие заводы, – оглох от восторженных криков, топота и свиста.

– Товарищи, – возник рядом с Гапоном Рутенберг. – Завтра на работу выходим, но за станки не встаём... А собираемся у конторы и вызываем директора, требуя принять уволенных рабочих и выгнать Тетявкина.

Под скандирование: «Выгнать! Выгнать!» – толпа начала расходиться.

В 8 часов утра не работала только столярная мастерская.

– Стачка, стачка, – расстроено съязвил пролезший через дыру в заборе Шотман. – Поорали, потопали, водки потом попили и спать...

– Да на черта большинству сдался этот Тетявкин и четверо уволенных пьяниц? – надвинул на глаза козырёк фуражки Северьянов. – Шапку надо купить, а то уши уже отвалились, – попрыгал и растёр лицо ладонями, покрутив затем уши.

– Чё, дядь Вась, за грехи себя наказываешь? – хохотнул подошедший к ним Гераська, обдав старших товарищей свежим запахом алкоголя.

– Господин Дрищенко, – насутился Северьянов, – нынче все винные лавки в округе приказано не открывать, а от тебя так и шибает...

– ... Квасом, – докончил его мысль Герасим. – Забродил, собака и скис, – вновь жизне-радостно хохотнул он, пружинисто попрыгав.

– Чего скачешь, как ёрш на сковородке? – пряча в углах рта усмешку, сурово оглядел молодого рабочего Шотман. – Помнишь Обуховский завод? – И, не слушая ответ, продолжил: – Набирай дружков, и выгоняйте из механических мастерских несознательный народ. Кочегаров и машинистов тоже в тычки. Кричи: «Всем идти к конторе».

Когда собралась толпа, скандирующая: «Смирнов! Смирнов!» – из здания администрации вышел недовольный директор.

– Ну чего разорались? – начал он. – Дело мною выяснено. Оказалось, что из четырёх рабочих: Сергунина, Субботина, Фёдорова и Уколова, последним двум расчёт совершенно не заявлен..., – оглядел притихших рабочих. – А что касается Сергунина... Так он уволен за вполне доказанную плохую работу в последние три месяца службы. А Субботин уволен не двадцать второго, как это говорили депутаты «Собрания», а назначен к расчёту лишь тридцатого декабря после прогула им свыше трёх дней подряд. Что касается мастера Тетявкина, то чувство справедливости не позволяет мне налагать на него кару. Ребята, – оглядел собравшихся. – Идите работать. Хотя дисциплина в цехах никуда не годится, обязуюсь никого не увольнять за забастовку, – построжал глазами. – Иначе вынужден буду согласно пункту 1 ст. 105 Устава о промышленности приступить к расчёту всех не вышедших.

– Господин директор, вы нас не пугайте, – выбрался из толпы Рутенберг и выставил перед собой крупно исписанный лист, словно пытался отгородиться им от начальства.

– Смотри-ка, и эсеры подсустились, – удивился едва ли не больше директора Шотман.

– А вон и Муев через очки таращится, – кивнул головой Северьянов.
– Каждой твари по паре, – пришёл к выводу неунывающий Дрищенко.
– Ты это о ком? – сжали кулаки большевики.
– Об инженерах, – гыгыкнул Гераська.
– Рабочие, господин директор, в составленной петиции выдвигают справедливые требования, – оглядел митингующих. – Первое. Уволить Тетякина и восстановить на работе Сергунина и Субботина, – стал читать текст.

– А-а-а-а! – удовлетворённо заголосили собравшиеся, заинтересованно прислушиваясь к неизвестно когда выдвинутым требованиям.

– Сократить рабочий день до 8-ми часов.

– А-а-а-а! – удовлетворённо орали рабочие.

– Улучшить санитарные условия некоторых мастерских, особенно кузнечной.

– А-а-а-а!

– Никто из рабочих не должен пострадать материально от забастовки.

– А-а-а-а!

– Время забастовки не должно считаться прогульным, за него уплатить по средним расценкам.

– Давайте я сам почитаю, – забрал у Рутенберга петицию директор. – Лично вам, милейший, – хмыкнул Смирнов – на последние пункты надеяться нечего. Вы уже пробка... А завод – бутылка шампанского. Счастливого полёта, инженер...

– Дело идёт. Забастовка расширяется, – делился впечатлениями Северьянов.

– Папашка Гапон мотается по всем одиннадцати отделам Собрания и баламутит народ, призывая идти к царю. Это же бессмыслица. То ли дело – забастовка! Красные флаги над головами... Требования созыва Учредительного собрания... Штурм самодержавия – вот главная идея, – аж задохнулся от нахлынувших чувств Шотман.

– Вон главный таран революции бежит, – кивнул на спешащего к ним Дрищенко Северьянов. – Явно с утра поднял на приличную высоту благосостояние какого-нибудь трактира.

– Пар из ноздрей хлопывает как из чайника, – улыбнулся Шотман.

– Дядя Вася, – задыхливо стал докладывать подбежавший Гераська. – Всего несколько заводов к стачке не присоединились...

– Да успокойся и переведи дыхание, – доброжелательно похлопал по плечу молодого рабочего Шотман.

– Главное, чтоб трактиры не забастовали, – добродушно обозрел младшего товарища Северьянов. – Ну что там? И не вздумай закуривать, – всполошился он, – ещё полчаса ответа от тебя не дождёшься.

– Да что, дядь Вася, – убрал папиросы в карман Гераська. – За Невской заставой – наш родной Обуховский пашет на самодержавие... Фабрика Торнтон. Мастерские Александровского завода вкалывают.

– Знаем, – вздохнул Шотман. – Людей уже послали на Александровский бить штрейкбрехеров, – сразил наповал незнакомым словом молодого большевика. – А ты, по старой памяти, дуй на Обуховский. Дружков там полно осталось... Вот и остановите работу.

* * *

Полковник Акаши встретился в Лондоне с японским послом Хаяси и одним из руководителей разведки Хукусимой.

– Заместитель начальника генерального штаба Нагаока телеграфировал мне, что Японии как воздух необходим мир, – расхаживал по мягкому ковру посол. – Россия ещё только начала

сжимать пальцы в кулак, – встал напротив сидящего в кресле Акаши и убрал руки за спину. – А наш кулак разжимается, – чуть не взвизгнул он, резко выбросив над головой правую руку с разжатыми пальцами. – Русская армия уже насчитывает на Дальнем Востоке триста тысяч человек. Сибирская железная дорога пропускает не четыре, как в начале войны, а четырнадцать пар поездов в день...

– Русские долго запрягают, но быстро погоняют, – со вздохом произнёс Хукусима.

– Не понял, что вы сейчас сказали, – вновь стал топтать ковёр посол, – но точно знаю, что финансовых и экономических трудностей в России нет. Прошлогодний урожай был обилен. Промышленность наращивает производство. Золотой запас за год возрос на сто пятьдесят миллионов рублей, – схватился он за голову. – В то время как наша родина страдает от войны. Мы призвали полмиллиона резервистов, ослабив этим промышленность и сельское хозяйство. Наша армия теряет перевес над русской, которая пополняется свежими войсками. Мы несём потери, а резервов у нас уже нет. Эту критическую ситуацию может выправить лишь внутренняя дестабилизация в России. Вот на что следует направить все усилия, – поочерёдно глянул на Хукусиму и Акаши. – Так считают и наши друзья в Америке. Денег на расшатывание политической обстановки в России они не жалеют. Американский банкир Лёб шумит на всю Америку: «Собирайте фонд, чтобы посылать в Россию оружие! Пусть лавина эта катится по всем Соединённым Штатам! Подлую Россию мы заставим встать на колени. Деньги могут это сделать». Активно поддерживает его и миллионер Шифф. Расскажите, господин Акаши, что вы успели сделать на эти деньги. Ведь известно, что для достижения победы все средства хороши, – патетически воскликнул он и чуть не шёпотом затем добавил: – Даже устранение русских губернаторов, великих князей и самого..., – потыкал пальцем в потолок, но произнести «монарха», не решился – святое слово.

– Сделано уже многое, – хотел подняться из кресла полковник, но был остановлен взмахом ладони с разжатыми пальцами.

Усевшись на диван, Хаяси внимательно слушал военного атташе.

– Налажены контакты с русской оппозицией, особенно эсерами и отчасти с Бундом. А также с финскими националистами и польскими радикалами. Осенью прошлого года мною была профинансирована общеопозиционная конференция в Париже, принявшая резолюцию о свержении самодержавия.

– Сами того не подозревая они льют воду на японскую мельницу, – вставил, на взгляд посла заумную фразу главный разведчик.

– Труднее на контакты идут большевики во главе с Лениным, – продолжил доклад Акаши, – но и он вчера, четвёртого января, на наши средства выпустил первый номер своей газеты «Вперёд».

– Видимо тоже сторонник лозунга: «Для достижения цели все средства хороши», – вновь высказался Хукусима.

«Мой Бог, – мысленно возмутился посол, – когда же тебя, наконец, русские разоблачат и расстреляют», – ласково улыбнулся шпионскому начальству.

– Уже сегодня выезжаю на встречу с эсеровской верхушкой. Они в Петербурге пытаются разыграть интересный спектакль, имея в руках пешку, которая мечтает стать ферзём...

– И пешка эта носит поповскую рясу, – хмыкнул главный шпион, окончательно испортив настроение послу Хаяси.

Николай Второй пока не знал обо всей этой суете и 6-го января, в праздник Крещения, вместе с семьёй и великими князьями присутствовал на литургии в соборе Зимнего дворца.

– Аликс, сегодня крепкий мороз и ветер, – по окончании литургии взял жену под руку Николай. – Мы с дядями решили, – кивнул на великого князя Владимира и его брата Алексея, – что за церемонией Водосвятия женщины и дети понаблюдают из окон Зимнего дворца.

Вам прекрасно всё будет видно, – зачастил словами, заметив, что супруга недовольно нахмурилась. – А то простудишься, не дай Бог, а у тебя на руках маленький Алексей, – улыбнулся ей, видя, что она согласилась.

– А девочки так хотели полюбоваться возведённым на льду, рядом с прорубью, павильоном, – уходя вместе с детьми, вздохнула она, чтоб муж понял, на какие жертвы ради него готова семья.

Следом за ней двинулись жёны и дети великих князей, а за ними статс-дамы и приглашённые на праздник Богоявления жёны сановников.

Во внутренних покоях дворца все с любопытством прильнули к окнам.

Мать императора Мария Фёдоровна встала у окна рядом с невесткой. Дальше расположились дочери.

– Душенька моя, говорят, что из Швейцарии уехали к нам в Питер тысячи анархистов-бомбистов с целью взорвать императора, как взорвали его деда, – забывшись, громче, чем нужно, поделилась с подругой жена генерала Богдановича и осеклась под строгим взглядом повернувшейся к ней императрицы.

– По Петербургу уже несколько дней идёт слух, что на моего сына будет покушение, – зашептала невестке царственная свекровь. Но я не верю в это. Ложные сплетни и больше ничего. Меня тоже вчера отговаривали ехать сюда... Но я сказала, что не боюсь, даже если что и случится, – на всякий случай перекрестилась и стала смотреть на крёстный ход.

Первыми из Иорданского подъезда вышли причётники с зажжёнными свечами и хоругвями. Следом – певчие придворной капеллы и духовенство в праздничных белых ризах.

Александра Фёдоровна увидела шедшего за ними мужа и хотела помахать рукой, но вовремя поняла, что он не заметит.

«Какие глупости... Покушение на Ники, – с неприятным, ледяным, как воздух за окном, чувством в сердце подумала она, с любовью наблюдая за супругом, не спеша шествующим по украшенным флажками и гирляндами сходням к павильону. – Иордани», – вспомнила ускользающее из памяти слово.

Стоящие по краям гвардейские части, по мере прохождения императора, брали «на караул».

Она увидела, как Ники и митрополит Антоний в сопровождении великих князей прошли под Иорданскую сень. Адьютанты полков с полковыми штандартами сошли на лёд Невы и замерли вокруг проруби.

Пока совершалась литургия, на батарейный двор 1-й батареи лейб-гвардии конно-артиллерийской бригады прибыли командир батареи Давыдов и субалтерн-офицеры: поручик Рот 1-й и его младший брат подпоручик Рот 2-й. Так их нумеровали в гвардейской артиллерии, чтоб не ошибиться – кто есть кто.

– Молодцы фейерверкеры¹, – поблагодарил нижних чинов капитан, увидев, что лошади впряжены в орудийные передки и батарея полностью готова к походу. – Стволы пробанины? – поинтересовался у младших офицеров.

– Так точно, – утвердительно кивнул головой старший из братьев. – Позавчера ещё, господин капитан, после «домашних учений» на артиллерийском дворе приказал почистить орудия, пробанить их, смазать и надеть чехлы.

– Не орудия, а убожество, – сплюнул капитан. – Вместо наших скорострельных пушек, переданных в действующую армию, выделили допотопные поршневого пукалки.

– Это пощёчина гвардейской артиллерии, – поддержал командира батареи подпоручик Рот 2-й.

¹ Фейерверкер. Унтер-офицерский чин в артиллерии.

– А на мой взгляд – старая пушка стрельбы не портит, – высказал свою точку зрения Рот 1-й.

– Но и далеко не стреляет.., – грохнул смехом Давыдов, вспомнив пословицу: «Старый конь борозды не портит, но и глубоко не пашет». «Ох, не к добру грохочу», – стал он серьёзным.

Вскоре на стрелке Васильевского острова, у здания Биржи, снялись с передков орудийные расчёты трёх батарей лейб-гвардии 1-й и 2-й артиллерийских бригад и гвардии конной артиллерии.

– Как настроение, господа? – поинтересовался у офицеров подъехавший на извозчике подполковник генштаба Половцев, хлопая затылком в перчатку кулаком по ладони. – Прохладно, однако.

– С праздником вас, господин подполковник, – поздравили начальника сегодняшних салютационных стрельб Роты, растянув в улыбках рты.

– Господа, согласно схеме расстановки орудий, две батареи из 1-й и 2-й артиллерийских бригад расположатся ниже биржевого сквера у обреза воды, а батарея конно-артиллерийской бригады – на площадке, расположенной между Ростральными колоннами или, как их в народе называют – биржевыми маяками и Дворцовым мостом.

– Да фейерверкеры в курсе, господин подполковник. Каждый год на эти места пушки ставим. Пойдёмте лучше в здание Биржи погреемся, – предложил подполковнику капитан.

Нижние чины споро расставили пушки и задумались, вспоминая, как их заряжать.

– Два раза всего обращению с этой ан-ртиллерией учили, – ворчал младший фейерверкер Гандаров. – Один раз осенью, а другой – позавчера. Рази запомнишь? – возился с орудием.

За его спиной остановилась упряжка, которой правил незнакомый старший фейерверкер.

– Ну что, робяты, салютовать готовы? – подошёл он к ним, доставая из кармана шинели бутылку пшеничной, из другого – стопку. – Пока офицеров нет, отметим Богоявление, – наполнив ёмкость, протянул Гандарову.

– Вроде бы как не положено, – произнёс тот в оправдание, цапнув стопку и в предвкушении поднося к губам. – С холостыми зарядами возимся, яти иху в жестянку мать.

– Да выпейте пока, а я подмогну. Целый ящик этих, как их, «фиктивных снарядов» подвёз. Ну-у, картонок с опилками, – достал из своего зарядного ящика холостой картечный снаряд и ловко зарядил орудие, пока два младших фейерверкера и канонир распивали бутылку.

– Во! Уже и уехал, – вытер довольные усы младший фейерверкер Патрикеев.

– Ловко умеет с поршневой пушкой управляться. И насчёт водовки не жадный, – похвалил уехавшего артиллериста канонир. – А вон и сигнальная ракета взлетела, – побежал он к пушке.

– Стрелять надо, а командиров всё нет, – встал за орудие младший фейерверкер Гандаров, услышав гром выстрела с Петропавловской крепости. – Следом мы палим...

Богослужение шло своим чередом. Когда запели Крещенский тропарь, митрополит Антоний спустился с помоста к проруби и три раза погрузил крест в воду, освятив её.

Стоявший неподалёку комендант Петербурга поднял ракетницу и выстрелил, подав сигнал начинать салют.

Тут же со стен Петропавловской крепости грохнул орудийный выстрел.

За ним появился белый дымок и блеснул огонь с набережной Васильевского острова.

Начавшаяся канонада заглушила благовест Исаакиевского собора.

Император приложился к кресту и был окроплён Антонием святой водой, осознав вдруг, что слышит свист шрапнели и с удивлением увидел, как неподалёку от майны, обливаясь кровью, упал полицейский чин.

Стоящий в четырёх шагах от монарха знаменщик Морского кадетского корпуса тёр саднящий лоб, с недоумением рассматривая пробитое знамя и скатившуюся к ногам картечную пулю, что попала в него на излёте, почти не причинив вреда.

Крещенская служба продолжалась... Всё так же гремел салют.

Николай вместе с митрополитом обходил знамёна полков, прокручивая в голове произошедшее событие и не находя на него ответа. Он совершенно не замечал дефилирующие мимо батальоны, которые Антоний усердно окроплял святой водой.

На этом Крещенский парад закончился.

Когда император покинул набережную, народ устремился к проруби черпнуть святой воды.

Подходя к Зимнему, Николай увидел разбитые стёкла в окнах дворца и выбоины от пуль в штукатурке стен. Побледнев, схватился за барабанной дробью колотившееся сердце, прося у Господа, чтоб в такой день не пострадали жена и дети.

– Аликс, с тобой и дочками всё в порядке? – обнял в покоях Зимнего дворца жену и по очереди перецеловал дочерей. – Пойдём, пойдём скорее к маленькому.

– Ники, какой ужас. Рядом с нами неожиданно лопнуло окно и на пол посыпались стёкла. А за ним и другое, – дрожа голосом, рассказывала ему. – Девочки испугались и закричали. Я тоже испугалась. Ещё эти ужасные слухи, – сумбурно говорила она, радуясь, что муж цел и невредим и что дочери не пострадали. – Ники, как хочешь, но вечером уедем из этого злого Петербурга... В наше доброе Царское Село, – взяв мужа за руку, прильнула к его плечу.

Ну как после такой ласки он мог отказать.

– Я только распоряжусь провести следствие, – поцеловал её в щёку.

Через час образованная комиссия приступила к расследованию. Начали с допроса солдат батарей, производивших стрельбу со стрелки Васильевского острова. Не исключали и злой умысел, а потому в комиссию, кроме военных чинов, включили директора Департамента полиции статского советника Лопухина и товарища прокурора Петербургской судебной палаты действительного статского советника Трусевича.

– Следствие установило, что командир батареи не осмотрел орудия в парке, положившись на командиров взводов. Те доверились нижним чинам. Прибыв на позицию, капитан вновь не распорядился осмотреть орудия, которые к тому же расположили в нарушение инструкции. Стволы одной пушки были направлены на Зимний дворец, а другой – на Иорданскую часовню. В плане было указано направить стволы орудий в сторону Троицкого моста, а не в толпу на Иордане. Однако господам офицерам на это было наплевать, – докладывал вечером Николаю председатель комиссии, начальник артиллерии гвардейского корпуса генерал-лейтенант Хитрово. – Сплошное разгильдяйство. Офицеры понадеялись на своих подчинённых... Вся подготовка к стрельбе свелась к тому, что с пушек сняли чехлы... Это и моё упущение, – повинно опустил голову генерал.

– Я так и думал, – отчего-то с облегчением произнёс монарх, – что это форменная халатность, а не злоумышление против жизни императора, – перекрестился он.

Они не знали, что нижние чины промолчали о приезде незнакомого фейерверкера и выпивке.

– Так что, ваше величество, – монотонно гудел генерал, – пушки не пробанили после учения, проводившегося четвёртого января, оставив в одной заряд с учебной картечью. Часть пуль после выстрела упала в снег и оставила в направлении Иорданской часовни продольные борозды. В самой часовне полицейские нашли четыре пулевых пробоины.

«Согласен, что одна пушка выстрелила учебной картечью в сторону Иордани. Пули здесь были уже на излёте. Но вторая-то пушка била боевым зарядом картечи. Я же военный человек и видел отметины на стенах дворца. Причём некоторые пули попали внутрь Николаевского зала

и на Иорданскую лестницу, – подумал Николай. – Но не стоит пугать жену... Просто армейское разгильдяйство. Этой версии и надо придерживаться».

– А как фамилия раненого полицейского чина? – неизвестно зачем поинтересовался у генерала и с содроганием услышал:

– Романов, ваше величество...

Пока образованное общество весь следующий день пылко обсуждало покушение на государя и его семью, доведя количество анархистов-бомбистов до тысячи человек, Георгий Гапон столь же пылко ораторствовал, призывая рабочих

идти с петицией к царю.

Зачитывал лишь экономические требования, избегая политических, что вписал в резолюцию Рутенберг.

Отцу Гапону тоже не совсем нравились такие пункты, как «свобода борьбы труда с капиталом...». Ему больше нравилось: «Пусть наша жизнь будет жертвой для пострадавшей России».

– Довольно слов, батька, укажи нам дело, – после его речей кричали рабочие.

– Дело у нас одно, – раздумчиво нахмутив лоб, отвечал крикунам, – поднимайте народ на забастовку. Есть такие тёмные люди, что не понимают своего счастья и продолжают работать. Идите и останавливайте работы на всех мелких фабриках и заводах. Останавливайте работы типографий и вокзалов.

Воодушевлённая толпа рабочих направилась на Варшавский вокзал и окружила паровозные мастерские. Несколько десятков путников ворвались внутрь.

– Бросай работу, мужики, – завопил Гераська, размахивая обрезком трубы.

– Щас! – возмутился мастер, но Гераська испытанным приёмом – железякой по хребту, мигом изменил его мнение.

– Глуши станки, – орали ворвавшиеся рабочие и метко метали принесённые с собой пакеты с техническим салом под накинутые на шкив ремни, которые тут же соскальзывали.

– Ну-у, ввиду таких категорических действий, – почёсывал спину мастер, – работу прекратим.

Рабочие паровозных мастерских гасили котлы поставленных на ремонт паровозов и выпускали из них пар. Вытирая ветошью руки, уже вместе с путниками направились к железнодорожной электростанции, быстро уговорив электриков прекратить подачу электричества не только на вокзал, но и вдоль всей железнодорожной линии.

Довольные исполненным делом, ринулись в трактиры и чайные.

Шотман-Горский и Северьянов из районного комитета партии получили распоряжение обойтись лишь забастовкой, без хождения к царю.

Распоряжение подтвердила присланная прокламация «Ко всем петербургским рабочим».

«Такой дешёвой ценой, как одна петиция, хотя бы и поданная попом от имени рабочих, свободу не покупают. Свобода добывается кровью. Свобода завоёвывается с оружием в руках в жестоких боях. Не просить царя и даже не требовать от него, не унижаться перед нашим заклятым врагом, а сбросить его с престола и выгнать с ним всю самодержавную шайку – только таким путём можно завоевать свободу!...»

– Ну что ж, – почесал затылок Северьянов. – Инструкции следует исполнять. Посетим любимый Гераськин трактир и почитаем там прокламацию.

В трактире шум и гам стоял невообразимый.

Завидя вошедших в дьяволоугодное заведение старших партийных товарищей, Гераська ловко забаррикадировался бутылками с водкой и пивом.

К тому же его загородил широкий рабочий зад в пузырящихся штанах, обладатель коего надсаживался в крике, краснея пьяной рожей:

– К царю-батюшке пойдём... И подадим прошение! Царь пожалует нас, сирых и в обиду анженерам и мастерам не да-а-аст.

– Пойдѐ-ѐ-ѐм! – поддержал его хор голосов.

Гераська благоразумно промолчал, исхитрившись чуть не под столом хряпнуть малую толику водочки.

– С хоругвями пойдём, – надрывался рабочий.

– Да не надо куда ходить, товарищи рабочие, – попытался перекричать пьяного оратора Шотман. – Освобождение рабочих зависит от самих рабочих, а не от попов и царей.

– Чаво-о? – выверился работяга, хватая за горлышко пустую бутылку.

– Не просить царя надо, а штурмом идти на самодержавие, только тогда загорится заря свободы.

– Чичас у тебя фонарь под глазом загорится, – швырнул в Шотмана бутылку разъярённый пролетарий. – Бейте жидов, братцы, – призывно взмахнул рукой и бросился в бой.

Довольный за старших товарищей Гераська поднялся во весь рост, дабы не пропустить какой-нибудь из пинков.

– Смутья-я-ян! – обрабатывал кулаками Шотмана рабочий.

Видя багровые лица и бешеные глаза, Северьянов ловко вскочил на стол, сбил работягу в пузырящихся штанах ударом ноги и, спрыгнув, схватил Шотмана за рукав, таща к выходу.

Тот достал наган и стал палить в потолок, случайно попав в лампочку.

В темноте, под вой, свист и ругань, большевики выбрались на улицу, лицом к лицу столкнувшись с меньшевиком Муевым.

– Вот кто собирается к царю идти, – ахнул ему со всей дури в глаз Северьянов.

Мув сделал эсдекам доброе дело, задержав бранным своим меньшевистским телом выскочивших из дверей трактира мстителей.

– Вот ещё одна гнида антилхентская, – съездил кулаком в нос медленно приходявшему в себя инженеру рабочий в пузырящихся штанах. – Так и шастают здесь, приبلуды. Вынюхивают всё, – горестно поглядел вслед исчезнувшим в морозной дымке социалистам.

«Идея идти с петицией настолько овладела умами, что бороться с ней невозможно», – доложили по инстанции пострадавшие большевики.

Биты в этот день были и другие их однопартийцы. ЦК РСДРП в ночь на 9 января принял решение: «Большевики должны участвовать в шествии к Зимнему дворцу, чтобы быть с народом, по возможности руководить массой».

8-го января Гапон надумал предупредить петербургского градоначальника Фулона о намечающемся шествии к Зимнему дворцу и даже дал одну из копий петиции в эсеровском её варианте.

Прочтя оную, генерал пришёл в ужас:

– Но это, батенька, настоящая революция! Вы угрожаете спокойствию столицы. Я вам верил... А теперь думаю, что вас следует арестовать как подстрекателя к бунту.

Не дослушав генерала, Гапон покинул его кабинет, направившись на встречу с министром юстиции Муравьёвым.

Пролёткой правил вооружённый наганом телохранитель Филиппов – громадина с неимоверной физической силой. Навстречу попался казачий разъезд, до колик в животе напугавший Гапона: «Вот ведь как может быть. Через полчаса с самим министром юстиции встречаться буду, а еду от его превосходительства генерала Фулона, на порог дома которого жандарм этих чубатых бестий и близко не пустит. Зато они могут запросто вытащить меня из саней, если чем-то не глянуть, и за здорово живёшь отхлестать нагайкой. Тут даже Филиппов со своей

медвежьей силой не поможет», – опасливо косился на казаков с винтовками за плечами, при пашках и с наглыми глазами верных защитников царя-батюшки.

– Ежели что станут гуторить, ты, Филиппов, с ними не спорь, – велел телохранителю, с облегчением вздохнув, когда казаки, покачиваясь в сёдлах, миновали их.

Священника сразу пропустили к министру.

– Вот, сын мой, – обескуражил министра таким к нему обращением, – одна из копий нашей петиции. Страна переживает политический и экономический кризис... Настал момент, когда рабочие, жизнь коих очень тяжела, желают изложить свои нужды царю...

– Я согласен с пожеланиями об улучшения экономического положения рабочих, но к чему эти дерзкие требования политического свойства? – разорвал петицию министр, швырнув обрывки под ноги Гапона. – Не вашего ума, отче, политика. Вы понимаете, что замахнулись на самодержавие...

– Да, ваше превосходительство, – взяв пример с казаков, нагло уставился на министра юстиции. – Это ограничение царской власти на благо самого самодержца и народа. А рвать петицию не следует... Ибо одна копия отдана корреспонденту английской газеты. «Молодец Рутенберг... Или, как его сейчас величают, Мартын. Правильно, что не послушал меня, – гордо хлопнув дверью, покинул приёмную министра юстиции. – Будет кровь», – проезжая мимо греющихся у жаровни солдат понял он.

– Останови-ка, братец, – велел Филиппову и громко поинтересовался, глядя на серые шинели. – Дети мои, неужели станете в народ стрелять, коли командиры прикажут...

Те мрачно молчали и лишь один, с нашивками, буркнул сидящему на козлах Филиппову:

– Трогай подобру-поздорову... А то неровён час – по шее схлопочешь, несмотря на свой важный вид.

«Эти будут стрелять, – покрылся испариной, несмотря на мороз, Гапон. – Будут, будут, – с ужасом твердил он. – Но отменить шествие невозможно... Ведь потом во всём обвинят меня, – застонал от охватившей его безысходности. Надо остановить кровопролитие... Но как? Пусть этим займутся другие. Интеллигенты, например», – велел ехать на квартиру к Максиму Горькому, адрес коего дал ему Муев.

– Нет, поезжай лучше в Нарвский отдел, – передумал он: «Пошлю оттуда кого-нибудь к писателю».

Посланец Гапона рабочий Кузин на квартире Горького не застал.

Открывшая ему дверь молодая красивая женщина: «Горничная, наверное, или поварёшка, – определил её жизненный статус пролетарий, не слишком ласково направила его в редакцию газеты «Сын Отечества». – Да, а чё мне? Деньгами батя снабдил, катайся на ямщиках, – рассуждал он, попутно надумав посидеть в трактире. – Так, самую малость. На три мерзавчика водки с мороза. Горький, – понеслись его мысли в заданном направлении, – в честь водки кличку взял или от горькой житухи? – морщил в раздумьях лоб. – А поварёшка-то – вон какая у него... Сладкая...».

В редакции застал целую толпу «антиллекторов». Писателя узнал по портрету в газете и выложил ему просьбу священника – предотвратить ожидаемое кровопролитие.

– Ибо солдат в город нагнали видимо-невидимо.

– Это мы и так видим, без отца Гапона, – с плохо скрываемой иронией произнёс господин в очках и бородачке. – Ещё бы немного, и вы нас не застали. Приглашаем вместе с нами посетить министра внутренних дел Святополк-Мирского. Потребуем убрать войска с улиц города, чтоб дать возможность рабочим поговорить с царём.

– Да нет императора в Петербурге, – перебил господина Максим Горький. – В Царском Селе от террористов с семьёй прячется.

– Говорят, его здорово напугали на Крещение, – хмыкнул ещё один интеллигентного вида господин.

Целая вереница саней и пролёток направилась к дому министра.

В точь такая же поварёшка, по мнению рабочего, как и у Горького, объяснила прибывшей депутации, что его превосходительство отсутствует.

– Врёт прислуга, – кипел праведным гневом господин в бородке и очках. – Не желает с нами встречаться. А поехали, господа, к председателю Комитета министров Витте, – предложил он.

Сергей Юльевич делегацию принял и даже распорядился подать чай с печеньями.

– Погрейтесь с дороги, – делая добродушный вид, угощал прибывших, узнав по портретам почётного академика Арсентьева, писателей Анненского и Горького: «Остальные мне совершенно неизвестны. Особенно вон тот, в смазных сапогах и косоворотке, что громко прихлёбывает чай и лихо поедает печенье», – с трудом скрыл усмешку.

Вспомнив, что он послан отцом Гапоном – не чай распивать, Кузин с набитым ртом пробубнил:

– Эта! Отче просил, дабы избежать великого несчастья, посоветовать государю – принять рабочих и выслушать их требования, – вытер ладонью мокрые губы.

Витте, глядя на прибывшую делегацию, отрицательно покачал головой.

– Господа общественники, я этого дела совсем не знаю и потому вмешиваться в него не могу. Им занимаются другие люди, вплоть до великого князя Владимира Александровича. Так что увольте, – расставил в стороны руки. – Рад бы помочь, да не в моей компетенции вопрос...

Обескураженная делегация, поздним вечером возвращаясь в редакцию, недовольно обсуждала прошедшую аудиенцию.

– Как же так, – горячился член городской управы, присяжный поверенный Кедрин. – Завтра может пролиться кровь, а к председателю Комитета министров... как он сказал... это дело совсем не относится. Правильно мы ему ответили, что в такое время он приводит формальные доводы и уклоняется от исполнения прямых своих обязанностей по предотвращению кровопролития.

– Царь Берендей в пьесе Островского «Снегурочка» говорил своему премьер-министру Бермяте: «Поверхностность – порок в почётных людях, поставленных высоко над народом», – задумчиво произнёс литератор Анненский.

– Это не поверхностность... Такое впечатление – чем хуже, тем для него лучше, – возразил Горький.

– Удивительное дело, – поддержал его историк Семеновский, – главе кабинета сообщают о назревающем кровопролитии, то есть о деле государственной важности, а оно его, оказывается, не касается... Дальше уже некуда. На окраинах империи идёт война, в столице назревает чуть не революция, а председателя Комитета министров это не касается...

– Правильные ходят толки, будто сам на место государя метит, – высказал своё мнение редактор газеты «Право» Гессен. – Нет дыма без огня...

Рабочий Кузин в диспуте общественников не участвовал, ибо после встречи с Витте сразу направился искать Гапона, разъезжающего по отделам «Собрания». Встретился с ним на квартире у купца Михайлова, ярого приверженца священника.

Присутствующие здесь руководители отделов договаривались, кто с какой колонной пойдёт завтра к царю.

– А интеллихенты говорят, что батюшки-царя в Питере нема, – проявил свою эрудицию Кузин, вызвав этим недовольные взгляды присутствующих на свою особу.

– Он неподалёку обретается, – отмахнулся от рабочего Гапон. – За полчаса доберётся... А наше шествие к двум часам дня должно достигнуть Зимнего дворца, и потом хоть до ночи станем ждать императора, – строго глянул на своего парламентёра. – А глупые вопросы грех задавать, заруби это на своём любопытном носу, сын мой, – отвернулся от Кузина. – А теперь, друзья, давайте обменяемся адресами, чтоб в случае смерти товарища позаботиться о его семье... И сфотографируемся напоследок, – дружно поехали в фотоателье господина Злобнова где и запечатлели свои лики для истории.

Этим же вечером у градоначальника Фуллона состоялось совещание высших военных и полицейских чинов.

– Как вы знаете, господа, – взял слово командующий гвардейским корпусом князь Васильчиков, – его величества в столице нет и вся власть в данный момент находится в руках его высочества, главнокомандующего Петербургским военным округом великого князя Владимира Александровича. Хотя формально Петербург на военное положение не переведён, но фактически это так. Посему, по приказу его высочества, с сегодняшнего дня власть в столице переходит в мои руки. Довожу до вашего сведения, господа, что в город стянуто двадцать тысяч пехоты, до тысячи кавалеристов и полторы тысячи казаков. Из Петергофа прибыли по пять эскадронов лейб-гвардии Конно-гренадёрского, Уланского и Драгунского полков; из Ревеля – два батальона Беломорского полка, два батальона Двинского полка и батальон Онежского полка; из Пскова – два батальона Иркутского полка, два батальона Омского полка и батальон Енисейского полка. Их задача – отрезать окраины от центра города и не допустить намечающееся шествие к Зимнему дворцу. Солдаты совместно с полицией с сегодняшнего дня несут патрулирование по городу для предотвращения возможных беспорядков. Солдатам розданы боевые патроны, а вот министр внутренних дел такого распоряжения почему-то не отдал и полиция, по сути, безоружна, – пренебрежительно глянул на Мирского.

– Прошу меня не учить, милостивый государь, какие приказы по моему ведомству отдавать, – взвизгнул министр. – К тому же после совещания Я еду с докладом к императору, – поднял свой престиж в глазах военных, намекнув, что государь назначил аудиенцию именно ему, а не князю Васильчикову и даже не Владимиру Александровичу.

– Вся территория города разбита на восемь районов, – пропустил реплику мимо ушей командующий гвардией.

После совещания, позвонив предварительно дежурному генерал-адъютанту, коим оказался Максим Акимович Рубанов, и, испросив согласие Николая на встречу, Святополк-Мирский приехал к императору с докладом.

Когда Рубанов, от нечего делать, читал в камер-фурьерском журнале запись: «Его Величество изволили принимать от 11 ч. 40мин. вечера министра внутренних дел Святополк-Мирского», к нему с поклоном приблизился скороход и задыхливо сообщил, что Его величество ожидают его превосходительство в кабинете.

Мирский, ежесекундно промокая платком лоб – то ли от нервов, то ли от жары в помещении, информировал государя о положении в столице.

– Рабочие, Ваше величество, спокойны, но на работу не выходят. Бастуют. Руководит ими священник Гапон. Думаю, что всё обойдётся, – вновь вытер лоб. – Из окрестностей вызваны войска для усиления гарнизона.

«Твоё-раствоё превосходительство, – осудил в душе министра Рубанов, – это тебе не пухлые фолианты сочинять о необходимости реформ. Здесь практические дела начались. Были бы Сипягин или Плеве, они бы все проблемы с попом и рабочими мигом уладили...»

Пока супруг принимал министра, Александра, уложив дочерей и сына,

самозабвенно молилась в маленькой домашней церкви, дверь которой выходила в общую спальную комнату царственной четы.

Огоньки висячих лампад навевали мистический настрой, и ей казалось, что Бог где-то здесь, рядом, и не оставит Своей Благодатью. Ведь это Он позавчера спас мужа, дочерей и её от смерти...

Помолившись и вытерев повлажневшие глаза, она прошла в спальню и, перекрестившись, легла на широкую кровать, приготовившись ожидать мужа сколько потребуется, хоть до утра.

Ей не нравился Святополк-Мирский, хотя бы за то, что ему благоволила Мария Фёдоровна.

– Что случилось? – стараясь скрыть нервный трепет, спросила, когда супруг, мягко ступая по толстому ковру с розово-лиловым ворсом, направился к ложу.

Но Александру выдал чуть дрогнувший голос, и он почувствовал её волнение и, почему-то, стал счастлив от этого.

– Всё в порядке, Аликс. Всё в порядке, – лёг рядом с ней. – Великий князь Сергей меня беспокоит. Уговорил подписать с первого января прошение об отставке с поста генерал-губернатора... Но, слава Богу, дал согласие остаться главнокомандующим войсками Московского военного округа. А Мирский сказал, что в столице спокойная обстановка и повода для тревоги нет. Так, маленькие негативные нюансы, – зевнул Николай, подумав, что завтра с утра следует поохотиться в парке на ворон, чтоб успокоиться от этих нюансов...

Поздним субботним вечером, со стороны заметённого снегом Марсова поля, у главных ворот казарм лейб-гвардии Павловского полка, что выходят на Константиновскую площадку, остановились битком набитые сани.

Покряхтев, из них вылезли два солдата и расплатились с извозчиком.

– Никита, надбавь сверху пятак извозцу. Хорошо довёз нас с Николаевского вокзала, подошёл один из приезжих к пляшущему от холода часовому в тулупе и тёплых рукавицах.

– Стой! Стрелять зачну! – на всякий случай произнёс тот, и закрутил закутанной в башлык головой, припоминая, где оставил оружие.

Довольный жизнью извозчик слез с облучка и помог дотащить один из трёх мешков к воротам, опрокинув приткнутую к ним винтовку.

– Вон винторез твой в сугроб укатился... Во народ пошёл. Баба ухват у печи не уронит, а у этого на посту винтовки летают, – миролюбиво заворчал Сидоров. – Спасибо, брат, – поблагодарил извозчика.

– Снегу-то. Будто в нашем цейхгаузе нафталин рассыпали, – подошёл к часовому Козлов. – Живут же люди, – позавидовал он. – Мало того – в валенках, так ещё и кеньги на них нацепил.

– А я и думаю, чего это он как конь копытами топает? Оказывается, деревянные калоши на валенки напялил, – заржал Сидоров, помахав отъезжающему извозчику.

– Кто такие будете? – строго поинтересовался часовой, поднимая винтовку.

– А ты вытащи глаза из башлыка и погляди, – сунул под синий солдатский нос свой погон Сидоров.

– С тобой, нижний чин Сухозад, господин страшный..., тьфу, старший унтер-офицер Сидоров разговаривает, и младший унтер-офицер Козлов, – солидно обошёл дневального Никита.

– Братцы-ы! Да неужто вы? – вновь прислонив оружие к воротам, полез обниматься часовой. – А я слышу – знакомый голос, а не пойму, от кого исходит. Нашивок-то нахватали-и, – любуясь однополчанами и отступив от них на шаг, по-бабьи всплеснул руками в рукавицах. – Думали, уж живыми и не увидим вас, – высморкался в башлык.

– Ты Панфёр, за мешком пригляди, пока мы эти два в казарму снесём, – развязав верёвочку и пошарив внутри, выудил пирог в добрую ладонь Козлов.

– Да посторожу, не сумлевайтесь, – обрадовался гостинцу часовой. – А то великий князь Константин так и шастает туды-суды возле ворот...

Составив мешки у тумбы дневального по роте, Сидоров почесал бровь, оглядев мирно спящих солдат.

– Пойдём, Никита, к дежурному по полку являться. А как офицеру доложимся, к фельдфебелю нагрянем. А после уж земляков соберём.

Доложив о прибытии штабс-капитану Яковлеву, который, приняв рапорт, с чувством пожал им руки и отпустил, пошутив, что сейчас занесёт их визит в камер-фурьерский журнал, бойцы направились к фельдфебелю.

Держа под мышкой приличных размеров свёрток и по привычке волнуясь, Сидоров осторожно постучал в дверь.

– Разрешите войтить, господин фельдфебель.

– Кого нелёгкая после отбоя несёт, – услышали сонный голос и перед ними предстал белый силуэт в кальсонах. – Это что за ячмени на ротном глазу? – поинтересовался, сощурив глаза, бог и царь нижних чинов 1-й роты Павловского полка. – Здорово щеглы, – узнал прибывших. Проходите. Явились – не запылились, – глянув на бывшего ефрейтора, проглотил дальнейшую тираду о вставленных в задницу перьях, узрев его награду на груди, приравнявшую эту «обувную щётку» к нему – фельдфебелю роты Его Величества и Георгиевскому кавалеру: «Ну зачем я упротосил начальство отправить полкового недотёпу на войну. Вот и стал, благодаря мне, героем», – уселся за стол, приглашая пришедших устраиваться рядом.

Поглядев, дабы унять душевные муки, на картину «Въезд на ослиати», произнёс, внутренне морщась и страдая – картина на этот раз не помогла:

– Ну что ж, господа ерои, следует вечер отполировать и послушать ваши рассказы, – поднявшись, со вздохом достал из шкафчика бутылку водки.

– А камчадал² мой на посту перед воротами стоит. Видали, поди. Так что придётся самим вертеться. Ты, Левонтий, не в службу, а в дружбу, – глянул на солдатский Георгий, – за ротным писарем сходи. Ты, Никита, за нашим полковым знаменосцем Евлампием Семёновичем Медведевым слетай. Он своего друга-музыканта позовёт, что на барабане играет.

– О-о! Музыканты – они фасонистые, – убегая, успел вставить Козлов, – писарям нипочём не уступят.

– А я фельдфебеля второй роты приглашу, Иванова Василия Егоровича. Вот и славно посидим, – благостно оглядел разложенные на столе куски солёного сала, вареной гусятины, белого хлеба, пирогов и целый свёрток сушёной тарани. – С утра рота в бане была, – с набитым ртом, через некоторое время, вещал Пал Палыч, морально почти смирившись с преобразованием ротного раздолбая в люди. – Потом робяты полы в ротном помещении мыли. Занятий по субботам, как знаете, не бывает, так что посидим, побалакаем, чайку вволю попьем, и я вам кровати укажу...

Только легли спать, как «фасонистый» барабанщик пробил тревогу, а дневальный по роте дурным голосом заорал:

– Строиться-я!

«Что за дела? – недоумевал Пал Палыч. – Воскресенье же», – ловко отбил тарань тесаком, очистил и сжевал, чтоб водкой не пахло, глянув по привычке на картину, а затем на подаренные фотокарточки. На одной – горе и раздражение Павловского полка, а ныне георгиевский кавалер Сидоров, смело подставлял крупнозубому, замахивающемуся винтовкой японцу гвардейскую

² Так спокон века в Павловском полку назывался солдат, прислуживающий фельдфебелю.

грудь. На другой – Козлов, несмотря на перебинтованную руку, хреначил врага, держащего огромную дубину.

Согласно приказа генерал-майора Щербачёва, 1-й батальон лейб-гвардии Павловского полка под командой полковника Ряснянского, в 9 утра расположился во внутреннем дворе Зимнего дворца.

К огромной обиде Евгения Феликсовича, руководивший охраной Дворцовой площади Щербачёв своим приказом старшим назначил командира 2-го дивизиона лейб-гвардии Казачьего полка полковника Чоглокова, под рукой у которого находилось всего полторы сотни казаков.

В результате целых два часа он – то благодарил перед строем прибывших с театра военных действий унтеров, то распекал капитанов Лебедева и Васильева.

Пал Палыч, стоя в строю, мысленным взором обратился к картине «Въезд на ослиати», а затем, в спокойном уже состоянии души, перебирал в памяти рассказы вновь испечённых георгиевских кавалеров, удивляясь, почему до сих пор наша армия не разгромила японцев: «Ведь на привалах они всерами обмахиваются, словно мадамы, а на фотографии своими глазами видел у японца косичку. Ну, бабы – они и есть бабы... Лишний раз убедишься, что ничему путному сейчас солдат не учат..., ежели такие, прости осподи, сражатели, унтерами стали и кавалерами, – забывшись, чуть не плюнул в строю. – Нам-то здесь уютно, а вот три роты четвёртого батальона под командой полковника Сперанского на Троицкой площади поставили... Помёрзнут робяты».

В 11 дня Ряснянский перешёл в добродушное настроение, ибо Чоглокову с его казаками Щербачёв приказал спешно выдвигаться на Николаевский вокзал в распоряжение генерал-майора Ширма.

«Вот там пусть за ширмой и прячется», – довольный каламбуром, закурил сигару.

Утром воскресного дня Рутенберг с трудом растолкал Гапона.

– Отче, девять часов уже, – сдёрнул со священника одеяло. – Ну и нервы у вас, батюшка. Я всю ночь не спал, – погладил рукоять нагана за поясом: «Уснёшь тут... Азеф дал задание любой ценой... Как это он выразился?.. Дискредитировать царя в глазах народа. Или, если представится случай и царь примет делегацию – ликвидировать его...»

И пока Гапон пил чай, хмурился, вспоминая записку от теоретика партии Чернова, что передал ему Азеф: «Следует разбить триединство, на котором стоит Россия: Православие. Самодержавие. Народность. Прежде всего, следует выбить из-под монархии главную опору – народное доверие. – Всё-таки умный человек наш Чернов, – тоже налил себе чаю и взял со стола баранку. – Мы создадим повод для народной мести царю... А посеет бурю поп Гапон», – исподлобья глянул на пьющего из блюдечка чай священника. – Ишь, сеятель бури... Губы-то как вытягивает на кипятке дуя, – чуть не рассмеялся Рутенберг и тут же осудил себя: – От нервов, наверное... Чего-то колотит всего».

– Петя... Или как там теперь тебя – Мартын, ты чего зубы сжал? Язык что ль прикусил? – отставил блюдце Гапон, вытирая платком взмокший лоб.

– Фу-у, хорошо! – покрутил головой по сторонам и встал, перекрестившись на икону. – Неужели сегодня с царём всея-всёя говорить буду и вразумлять его, – аж зажмурился, представив такую лакомую картину, и ужасно вновь захотел чаю: «Некогда будет по подворотням бегать». – Да кто там ломится? – чуть испуганным голосом обратился к Рутенбергу. – Не полицию же Мирский подослал...

– К вам, батюшка, посыльный от градоначальника Фуллона, – зарокотал Филиппов, просунув в дверь голову.

– Чего ему надо? – несколько успокоился Гапон.

– Фуллон просит поговорить с ним по телефону.

– Некогда мне с ним лясы точить: «Скоро с самим царём беседовать надлежит». – Где там Кузин? пусть идёт к телефону и скажет градоначальнику, что шествие состоится, как бы он против этого не был, – вышел на улицу, зябко кутаясь в обширную шубу: «Филиппова, поди? Утонешь в ней, – с трудом забрался в сани. – Чего-то Кузин обратно летит», – велел подождать телефонного парламентёра.

– Батька, батька, до аппарата не добрался, – всё не мог перевести тот дыхание.

– Чёрта что ли встретил? – хрюкнул в кулак Гапон. – Так ты его крестом...

– Хуже! – наконец смог связно говорить рабочий. – Пристава! Вдруг вас арестовывать идёт?

– Типун тебе на язык, Кузин... Да чтоб с твой нос был. Дуй в Нарвский отдел, – велел извозчику.

Там священника ждала огромная толпа, воодушевлённо его приветствуя на всём пути от саней и до дверей отдела.

– Отче, – слышал он крики, – в городе повсюду войска...

– Ничё-ё! Пройдём! – несколько сник от услышанного, входя внутрь помещения. – Здорово, Васильев, – пожал руку ближайшему соратнику. – Вижу, народ к шествию готов...

– Готов-то готов, но мне робяты рассказали, что Петербург превратился в военный лагерь. Повсюду солдаты и казаки. Мосты тоже заняты войсками. Не здря, значит, дворники вчера весь день клеили по городу объявления, что намеченное мероприятие недопустимо. Так и написали, сатрапы, – вытащил из-за пазухи листок: «Градоначальник считает долгом предупредить, что никакие сборища и шествия таковых по улицам не допускаются и что к устранению всякого массового беспорядка будут приняты предписываемые законом решительные меры».

– Нечего беспокоиться, дети мои. Стрелять в нас не станут, – внутренне засомневался Гапон. – Вот что сделаем... Придадим шествию характер крепкого хода. Пошли-ка несколько человек в ближайшую церковь и пусть попросят там хоругви и иконы... А чтоб показать властям миролюбивый характер процессии, возьмите из отдела вон тот царский портрет в широкой раме, – указал рукой. – Да и с Богом... Выходить пора... К двум дня на площади договорились собраться. Чего-то иконы из церкви не несут, – забеспокоился он, увидев посланцев с пустыми руками.

– Не дали, батюшка, – перебивая друг друга, затараторили рабочие. – Не богоугодное дело, сказали, властями запрещённое.

– Ты вот что, Васильев, – взъерился Гапон. – Пошли туда человек сто... Обнаглели попы, прости Господи, – перекрестился на портрет государя, так как икон пока не было. – Силой берите... А мы пока, как и подобает перед любым делом на Руси, отслужим молебен в часовне Путиловского завода.

В 11 утра огромная колонна рабочих с жёнами и детьми, после возгласа Гапона: «С Богом!», тронулась к Зимнему дворцу. Перед колонной несли царский портрет, за ним – четыре хоругви и образа. Следом шествовал Гапон, а на шаг сзади: Рутенберг, Филиппов, Васильев, Кузин и дальше – прочая рабочая мелочь.

– Тысяч двадцать собралось, не меньше, – поравнялся с Гапоном Рутенберг. – А наша – не самая большая колонна. Да ещё любопытствующей публики на тротуары высыпало... Вливались бы в рабочие ряды.

«Это хорошо, – подумал Гапон. – Тут и студенты, и простонародье, и господа, и даже барышни, шастающие везде, где им не следует быть... Совсем матери за детьми не следят, потом я в пересыльной тюрьме их на этап благословляю, – проснулся в нём священник. – Ох, не те мысли в голову лезут. Как бы самого на этап не благословил преемник», – запел от волнения:

«Боже, царя храни-и», – идущие за ним люди подхватили гимн.

– Ну вот, отче, часа полтора идём и никто не препятствует..., – взволнованно произнёс Рутенберг. – Лишь околоточные надзиратели да конные городовые остановиться увещевают... Ну и холодно ноне, – поднял глаза к серому небу и онемел от увиденной картины.

В белесоватой мгле появилось тёмно-красное солнце и в мутном тумане, по краям от него, возникли ещё два бордовых светила.

«Будто в зеркале отражение», – унял заколотившееся сердце Гапон, слыша позади возгласы:

– Три солнца на небе!

– Нехорошее знамение! Беду предвещает, – крестился народ.

– Царю-ю небесный..., – затанул священник, чтоб отвлечь людей от знамения, и народ запел, поддержав его.

Неподалёку от Нарвской заставы цепь солдат заступила дорогу шествию. За ними Гапон увидел кавалеристов.

От жиденького наряда полиции увещевать бунтовщиков направился старший полицейский чин. К нему присоединились шествующие по краям колонны помощник пристава поручик Жолткевич и околоточный надзиратель Шорников.

– Я пристав Значковский. Кто у вас предводитель? – как можно громче спросил полицейский чин, пятясь задом перед толпой. – Остановитесь. Властями запрещено ваше шествие... – не успел договорить, как из толпы раздалось несколько выстрелов.

Гапону на миг показалось, что стрелял Рутенберг.

Двое полицейских упали, а пристав Значковский побежал к своим.

И тут же к колонне рысью направился эскадрон кавалерии.

Рутенберг увидел скачущего впереди офицера и, не целясь, выстрелил в него, услышав из колонны ещё несколько выстрелов.

«Господи! Что же это? – оторопел Гапон. – Зачем стреляют... Мы не дошли ещё до Зимнего...»

Телохранитель Филиппов оттащил священника в сторону, когда мимо них проскакал кавалерист, грозно размахивая шашкой.

– Плашмя по плечу звезданул, – неизвестно кому пожаловался Васильев, от всей души треснув огромным крестом, что притащили из церкви, кавалерийского унтер-офицера. – Расступайтесь и пропускайте конников, в полный голос заорал он.

Не остановив манифестантов, эскадрон повернул назад, и под смех расступившихся солдат, построился за их цепью.

Почесав через пальто плечо, Васильев повёл колонну, не увидев уже в первых рядах Гапона.

Три солнца сменила необычная зимой яркая радуга, а когда она потускнела и скрылась, поднялась снежная буря. Из этой вьюжной круговерти раздался звук трубы, выводивший какой-то суровый мотив.

– Музыкой себя веселят, – обращаясь к рабочим, кивнул в сторону солдат Васильев.

– Ну сколько можно трубить предупреждающий сигнал, – выдернул шашку из ножен командующий двумя ротами Иркутского полка капитан. – К прицелу! – выкрикнул команду. – Уже на сто шагов подпустили колонну.

Но манифестанты как шли, так и продолжали идти, громко запев молитву «Отче Наш».

Капитан четыре раза кричал «к прицелу», надеясь напугать рабочих, и всё не решаясь скомандовать: «пли».

Но за пением и рёвом бури они не слышали команды, продолжая надвигаться на цепь солдат.

– Пли! – махнул шашкой капитан, потеряв надежду остановить того и гляди сомнувшую солдат толпу.

Когда на землю упали хоругвеносцы и нёсший царский портрет рабочий, Гапон ещё не понял, что по ним произвели залп.

Но когда закрывший его Филиппов зашатался, хватаясь за грудь, и прохрипел:

– В царя из пушки стрелять умеете, и по людям из ружей, а от японцев бежите, – до Гапона дошёл весь ужас создавшегося положения, и с него сразу слетели спесь и тщеславие.

Он почувствовал, что Рутенберг с силой потянул его за рукав шубы и брякнулся на землю, уткнувшись лицом в царский портрет и ощутив боль в груди от давившего на неё креста. Разум его на какое-то время отключился и будто издалека он слышал, как Кузин во всю глотку в истерике орал:

– Гапон предатель! Он знал, что будет!

– Он повёл нас на заклание.., – раздавался неподалёку то ли хрип, то ли стон.

«Недолговечна ты, слава земная», – теряя сознание, подумал священник.

В чувство его привели больно хлыщущие по щекам ладони. Раскрыв глаза, он увидел над собой лицо Рутенберга.

– Поднимайся, Георгий, уходить надо.

Не обращая внимания на крики и стоны, где ползком, где пригнувшись, они добрались до пропахшей кошками подворотни и забившись в угол перевели дыхание.

– Петя, не бросай меня, – дрожа губами, несколько раз повторил Гапон, с удивлением заметив в руках товарища неизвестно откуда возникшие ножницы.

Безо всякого почтения сбив с попа шапку, Рутенберг грубо стал остригать длинные космы, прикрывая собой Гапона, дабы кто-нибудь из рабочих, забежавших в подворотню, не увидел его и не убил.

Глядя на растерянное безвольное лицо, временами морщившееся от боли, когда ножницы в дрожащей руке выщипывали волосы из головы, Рутенберг решил, что следует придумать легенду об этих минутах: «Ну не рассказывать же потом, что народный вождь, трепеща телом и дрожа губами, шептал: «Петя, не бросай меня». Следует поведать, что подбежавшие рабочие поцеловали священнику руку и поделили между собой остриженные волосы, в то время, как отец Гапон суровым голосом произнёс: «Нет больше Бога! Нет больше царя!»

– Пе-е-тя! Нас не убьют? – заплакал Гапон, растирая слёзы рукавом шубы.

– Раз до сих пор живы, то не убьют, – выбросил ножницы и револьвер Рутенберг.

Голова его стала удивительно ясна. Он даже сам удивился этому.

– Георгий, надо уходить отсюда, – поднял и с трудом довёл безвольное, словно из киселя, тело, до ворот, увидев у раскрытой створы мёртвого человека: «Следует переодеть батюшку», – ударил его кулаком в скулу, чтоб тот разозлился и пришёл в себя.

Но удар не подействовал. Качнув головой и скорчив плаксивую гримасу, Гапон всхлипнул, выдув из носа огромный пузырь.

«Словно шарик воздушный надул», – совершенно успокоился Рутенберг и стал снимать с убитого испачканное кровью пальто.

– Сбрасывай шубу, отче, да пальто надень, чтоб Николай при встрече не узнал, – пошутит, удивившись себе, и рассмеялся, глядя на дрожащего священника, с ужасом воззrivшегося на его смеющееся лицо.

– Ты чего, Мартын? – начал тот приходить в себя, надевая пальто и пачкая руки в чужой крови.

Застегнув пуговицы дрожащими пальцами, поднял к лицу кровавые ладони, и они затряслись, а слёзы вновь полились из глаз.

– Я убил их! – причитал он, закрыв лицо руками... – Я убил их... – зашипел, перейдя на шёпот, чуть опять не потеряв сознание.

Хладнокровно обтерев платком кровавое от ладоней лицо, Рутенберг спокойно, будто на пикнике в дружеской компании, произнёс, брезгливо глядя на земляка:

– В город пробираться надо, и у знакомых спрятаться.

После этих слов Гапона охватила нервная лихорадка:

– Да! Да! Прятаться надо... Кровь! Кровь кругом, – шептал, словно в бреду.

«Ты теперь нигде от этой крови не спрячешься», – повёл его дворами и проулками, а в голове неожиданно возникли слова Азефа, произнесённые при последней встрече: «Вдумайтесь только, какое это величие – использовать веру в Царя и Бога для революционных замыслов».

Поплутав по улицам, Рутенберг с Гапоном вышли к особняку одиозного миллионщика Саввы Морозова, где их приняли по высшему разряду.

Отмыв от крови лицо, вызвали «жана»³, который, профессионально топыря мизинец, подстриг священника, попутно замучив вопросом: «не беспокоит-с», и затем аккуратно сбрил бороду.

«Ну, чисто поп-растрига», – мысленно хмыкнул Рутенберг.

Гапона переодели во всё чистое и накормили.

Подумав: «Хотя это чистой воды нелепица – а вдруг за нами следили?» – Рутенберг повёл Гапона на квартиру к писателю Горькому.

Выпив здесь стакан вина, и окончательно успокоившись, по совету окружившей его интеллигенции, написал в Нарвский отдел записку, продиктованную Рутенбергом и Горьким: «У нас больше нет царя! Рабочим надо начинать борьбу за свои права. Завтра я к вам приду, а сегодня занимаюсь вопросами на благо общего дела».

Вспомнив недавние события прослезился, затем выпил для успокоения второй стакан, и взбодрившись, поддался на уговоры писателя выступить перед интеллигенцией в помещении Вольного Экономического общества.

– Вас никто не узнает, Георгий Аполлонович. Вы сейчас больше смахиваете на обыкновенного приват-доцента, нежели на народного вождя, – плюнул в душу Гапона, критически обозрев безбородое бледное лицо со скошенным набок носом и короткой стрижкой. Окинув взором крахмальный воротничок, и безобразно вылезшие из рукавов мятого пиджака манжеты, подумал, что и на приват-доцента этот помятый субъект явно не тянет, а весьма схож со шпиком из охраны...

«Как я ненавижу этих интеллигентов... То ли дело – простые рабочие», – узрев в писательских глазах искры иронии, поправил манжеты Гапон, и сморщил в плаксивой гримасе лицо, вспомнив убитого богатыря Филиппова с его окладистой бородой и трубным басом.

Шумное заседание интеллигенции вёл профессор Лесгафт – так представил председателя Максим Горький.

Крича каждый своё, и не слушая глупые мнения других, собравшиеся господа обсуждали виденное и пережитое днём.

– Представляете, – горячился старичок в пенсне и в бородке клинышком. – Десять тысяч раненных и пять тысяч убитых... И это в столице России. На моих глазах... – кряхтя, взобрался на кафедру, – ...Ша! – выставил ладонь в сторону Лесгафта, попытавшегося довести до сведения старикашки, что намечен другой докладчик. – Я сам видел, пока ехал сюда на конке, – задребезжал он с трибуны, уцепив себя за бородку, – как за нами гналась целая сотня казаков, во всю глотку вопя: «Бейте студента!»

³ Так в Петербурге называли парикмахеров.

– Это вас приняли за студента и хотели избить? – поинтересовался недовольный ущемлением своих председательских прав Лесгафт.

– Нет! Студент – он и в Африке студент... В очках и шляпе, – занудливо стал объяснять старичок.

– Ну да, – насмешливо покивал головой ведущий собрание. – С кольцом в носу и в набедренной повязке...

– Один из казаков, – не слушая язвительные замечания, продолжил старикан, – видно через окно его заметил и с подвывом заорал: «Лупи в хвост и в гриву очкарика-а!», – жестикулировал пожилой докладчик. – Всё на моих глазах было и нечего усмехаться, – набросился на председателя. – Остановив вагон, дикари вытащили студента и стали избивать нагайками и ногами...

– Они от самой Африки за ним гнались? – попытался уточнить Лесгафт.

– Нет. От Зимнего, – огрызнулся старичок и, сделав жалостливое лицо, продолжил: – Бедный студент только и мог стонать: «Мама, мама-а...»

Услышав такие ужасы, сидевший неподалёку Гапон привычно уже пустил слезу, представив себя на месте несчастного юноши, а Лесгафт, наоборот, разозлился от этого душесипательного эпизода.

– А вот мне рассказали, что на Большом проспекте Петербургской стороны эскадрон кавалерии лейб-гвардии Конного полка остановил конку на том основании, что сидевший в имперiale студент назвал их опричниками.

– Кем они и являются, – сумел вставить старичок, покидая трибуну.

Лесгафт неожиданно увлёкся повествованием: «Наверное, от дедушки заразился», усмехнувшись, подумал он.

– Офицер в грубой форме... шпак, очкарик... Потребовал выйти из транспортного средства, и пока бедняга сходил, целый взвод во главе с офицером стали рубить его шашками...

У Гапона опять намокли глаза от столь трагической картины, а присевший рядом старичок прошептал: «И он закричал: мама, мама-а», – громко высморкавшись в платок, дедуля подозрительно покосился на попа-расстригу

– не с охраны ли чучело?

– ... В эту минуту, – взобрался на кафедру Лесгафт, чтоб вещать на весь зал, – приблизился отряд городских, и стал рубить заступившегося за студента рабочего. И его тоже забили до смерти. Одна из пассажирок конки видела даже два гроба, доставленных к вагону, куда положили останки убитых, – покинув кафедру, подошёл к старичку с Гапоном. – Это я к тому, что бывают и непроверенные слухи, – сказал клинобородому дедушке. – А вы, как сообщил мне Алексей Максимович – посланец отца Гапона? Прошу вас за трибуну.

Взойдя на кафедру, Гапон оглядел зал и поздоровался, как в «Собрании» с рабочими:

– Здравствуйтесь. Многие лета вам.

И под негромкие смешки продолжил:

– Теперь время не для речей, а для действия. Рабочие доказали, что умеют умирать, но, к сожалению, они безоружны. А с голыми руками трудно бороться против винтовок, шашек и револьверов. Теперь ваша очередь помочь им. Накануне девятого января нам обещали триста револьверов и бомбы. Но обманули. А из магазина Чижова мы достали только двадцать револьверов, – прикусил язык. – Нужно оружие! – под аплодисменты сошёл с кафедры.

«Артистические переливы тембра, поднятые вверх руки и закатанные к небесам глаза... Всё это рассчитано на рабочих. На их низкий умственный уровень... А здесь жесты благословения и переливы голоса роли не играют. Здесь важен смысл. То-то Лесгафт дипломатично посмеялся над старичком в пенсне», – улыбнулся Рутенберг – умный и хладнокровный человек, показавший пешке, что она пешкой и осталась, не сумев пробиться в ферзи.

После речи, как все догадались – отца Гапона, небольшая группа присутствующих, в одной из комнат Общества стала обсуждать, где взять оружие, чтоб организовать народное восстание.

Как потом рассказывал Гапон, Максима Горького он поставил у двери на стрёме, чтоб не зашли посторонние...

Не знавший о своей «босаяцкой» роли Горький, после собрания, повёз стриженую знаменитость к себе домой и вместе с ним сочинил ещё два обращения. Одно к рабочим: «Так отомстим же, братья, проклятому народом царю и всему его змеиному отродью, министрам... Смерть им... И оружие разрешаю вам брать... Бомбы, динамит – всё разрешаю... Стройте баррикады, громите царские дворцы и палаты! Уничтожьте ненавистную народу полицию...»

В том же духе составили и обращение к солдатам.

В 22 часа 20 минут с докладом императору в Царское Село прибыл Святополк-Мирский. – Войска применили оружие? – поразился Николай, в волнении закуривая папиросу. Мирскому курить не предложил.

– Ещё накануне вы говорили, что в столице сохраняется спокойная обстановка, – остановившимся взглядом смотрел в тёмное окно.

– Рабочие выдвинули требование, чтобы Вы, Ваше величество, вышли к ним принять петицию. А среди рабочих скрывались эсеры и эсдеки, которые и спровоцировали ответный огонь войск. Реально было покушение на вас...

– А что же Фуллон? – спросил у Мирского царь.

– Руководил из кабинета. Но командовал всеми войсками, по поручению великого князя Владимира Александровича, князь Васильчиков.

– Это я знаю, но считаю, что раз Фуллон во всём потакал Гапону и его Собранию, то обязан был выйти к ним и принять петицию, успокоив толпу и пообещав выполнить большую часть требований... А дяде моему лишь бы пострелять, – в гневе вспыхнул лицом Николай. – Фуллона немедленно в отставку. И его счастье, что официально всё руководство взяли на себя военные. А то бы быть ему в Петропавловской крепости... И не начальником... А что войска?

– Войска, Ваше величество, полностью исполнили свой долг. Первая встреча колонны рабочих с войсками произошла в двенадцать часов дня возле Нарвских ворот. Ещё две огромные толпы следовали к центру города. Возле Большой Дворянской улицы два эскадрона гвардейских улан попытались перегородить им путь, но рабочие пропустили их внутрь колонны, обойдя по бокам, и продолжили следование к Троицкой площади, где дислоцировались тринадцатая, четырнадцатая и пятнадцатая роты лейб-гвардии Павловского полка. Пристав Петербургской части, встав перед толпой, стал увещевать её прекратить движение и разойтись... Но толпа продолжала идти. Тогда павловцы, держа ружья с примкнутыми штыками наперевес, словно на параде, ринулись с криками «ура!» на толпу, которая стала разбегаться. Жертв среди рабочих не было.

– Павловцы молодцы! – похвалил полк император.

– Самые бурные события произошли на Васильевском острове, – продолжил доклад министр внутренних дел. – Там строили баррикады с проволочными заграждениями и поднимали красные флаги, выкрикивая: «Долой самодержавие». «Да здравствует революция!» Стреляли по войскам. Кидали в солдат камни. Валили телеграфные столбы. Несколько сот человек напали на управление второго участка Васильевской части, разбили окна, ломали двери. Служащие отстреливались из револьверов. Однако генерал-майор Самгин, командующий войсками в числе двух эскадронов улан, двух сотен казаков и восьми рот пехоты, со смутьянами справился. Войска несколько раз разгоняли толпу и разбирали баррикады. За вооружённое сопротивление и грабежи было задержано сто шестьдесят три человека.

Отпустив Мирского, Николай прошёлся по кабинету, в сердцах ударом ноги опрокинув стул: «Хорошо, что свидетелей вспышки не было, – сел в кресло и задумался. – Второй грех на мне. Ходынка и сегодняшний день. Но тогда люди подавили себя сами, а теперь это сделали – правительство и Я. Приказа стрелять не было. Речь шла о том, чтоб не допустить огромную толпу – Мирский назвал цифру в триста тысяч, в центр города, дабы пресечь погромы и беспорядки, наподобие Кишинёвских. Как теперь на Западе, а следом и наши либералы, назовут меня? – грустно улыбнулся, вновь закуривая папиросу. – Ясно, что не Николай Добрый... Главным виновником, разумеется, станет царь. Применишь оружие, и в глазах Запада преступник. Не применишь – тоже преступник. А как бы на моём месте поступили англичане, случись у них такая демонстрация. Да ещё во время войны?!

Через день он прочёл в газетах, что стал Николай Кровавый!

Прочла это и Александра Фёдоровна.

«Николай Кровавый... – внутренне возмутилась она. – Да он даже маникюр запрещает мне делать: Пальцы как в крови, говорит... Крови человеческой не переносит и вдруг – Кровавый...»

Лондонская «Таймс» 11 января напечатала: «Теперь уже почти выяснено, что русское правительство нарочно предоставило движению развернуться, чтобы потом сразу дать кровавый урок. Николай Второй, как государь, не только пал, но и пал позорным образом».

А политический деятель Великобритании Рамсей Макдональд, в скором времени министр труда, назвал Николая человеком «запятнавшим себя кровью» и «примитивным убийцей».

Демократические депутаты в парламентах Италии, Франции, Германии заклеили позором кровавый режим, собирая у российских посольств своих сторонников, идущих под лозунгом «Долой царизм!»

В 1916 году Николай Второй узнал, как лихо английское правительство подавило Дублинское восстание, возникшее во время войны. Не мудрствуя лукаво, подогнали к городу боевые корабли и из пушек стреляли по восставшим..., уничтожив в несколько раз больше народа, чем 9-го января в Петербурге. И ничего... Никаких криков о кровавом английском режиме... И никого за это не отправили в отставку. И никто материально не поддержал, как в России, пострадавшие семьи... Расстреляли-то в королевско-парламентской Англии, а не царской России.

Особенно большой отклик события 9-го января вызвали в еврейской среде.

Бобинчик-Рабинович, уплетая некошерную, но такую вкусную пищу, на чём свет стоит, материл царских сатрапов во главе с Николаем.

– Хаим, завтра идём поднимать местечковых евреев на забастовку. Товарищ Вольф-Кремер поручил созданному нами боевому отряду обеспечить её массовость, – обгладывал куриную ножку, запивая вином. – Велено обходить заводы и фабрики, а также мелкие мастерские, призывая прекратить работу.

– А если не прекратят? – поинтересовался Хаим, зная уже ответ.

– Нам не впервой, – раздухарился Бобинчик-Рабинович. – Лупцуй хозяев производств и несогласных бросить работу. Скажем ребятам, пусть смело выпускают пар из котлов на заводах, снимают приводные ремни механизмов.

А товарищ Ицхак напечатает листовки, призывающие к забастовке.

– Ты не учи, что мне делать, – разозлился Ицхак: «Во свиноед! Уже мной руководит».

В официальном сообщении, составленном по сведениям из больниц, в чёрном квадрате поместили цифры пострадавших: 130 убитых и 299 раненых.

Тяжело перенёсший воскресные события Николай взял себя в руки, решив, что власть не должна капитулировать под давлением руководимой революционерами толпы, и согласиться на явно невыполнимые требования.

К тому же во время войны: «А пока следует усилить власть, придав ей даже диктаторские функции».

Не откладывая в долгий ящик, уже 11 января вызвал в Царское Село генерала Трепова, коего знал по отзывам Московского генерал-губернатора – как прекрасного обер-полицмейстера, и назначил его генерал-губернатором Петербурга.

Своим указом вручил ему неограниченные права в деле «охранения государственного порядка и общественной безопасности».

К вечеру этого дня из Парижа от латино-славянского агентства генерала Череп-Спиродовича в Россию пришло сообщение, что японцы открыто гордятся волнениями, вызванными усилиями их агентов и розданными деньгами.

Как выяснила разведка – Акаши, за американские доллары, на корню скупил все революционные партии и они плясали под его японскую дудку.

Узнав о назначении Трепова, окружение Гапона, в том числе и Горький, стали уговаривать его покинуть Россию, сохранив свою жизнь для будущей революции.

«Может – язвят? – сомневался расстрига, слушая писателя, который, окай, убеждал его: – Уезжайте. Вы необходимы для революции. А мы пока подготовим восстание.

– Георгий, – увещевал бывшего попа Рутенберг, – все отделы Собрания с десятого января закрыты и начались повальные аресты «неблагонадёжных». Так нас в полиции теперь называют. Я уже договорился с владельцем одного имения под Петербургом. Сегодня едем к нему. Завтра тебе привезут заграничный паспорт и переправят в Финляндию, а затем в Швецию.

Паспорт привёз лично Савинков. Но оказалось, что Гапон, не дождавшись Рутенберга, исхитрился сбежать за границу без документов.

Николай, через несколько дней прочтя запись, что внёс в дневник после посещения Мирского: «9 января. Воскресенье. Тяжёлый день. В Петербурге произошли серьёзные беспорядки вследствие желания рабочих дойти до Зимнего дворца. Войска должны были стрелять в разных местах города. Было много убитых и раненых. Господи, как больно и тяжело...» – решил помочь семьям пострадавших, и из своих средств выделил 50 тысяч рублей.

Узнав об этом, фабриканты и заводчики Петербурга тоже решили «озаботиться» о них. Собравшись, решили, что рабочие были вовлечены в беспорядки внешними силами, поэтому не станем искать на производствах зачинщиков забастовки и наказывать за прогулы не будем. Также надумали создать фонд помощи пострадавшим, внося в него по 20 копеек от численности рабочих на своих предприятиях.

«Ну, уж если заводчики раскошелились, то и нам жидиться не к лицу», – решили в Петербургской городской думе и ассигновали на пособия пострадавшим 25 тысяч рублей.

Тёзка Гапона Георгий Рубанов кучу денег извёл на извозчиков.

Отважно разъезжая по Петербургу, он отмечал в блокноте следы стрельбы и погромов, усердно записывая впечатления извозчиков и студентов, коих за свой счёт иногда развозил по домам.

«Вечером 9-го на Невском царило оживление. Гуляющая публика фланировала по проспекту, совершенно наплевав на все предупреждения об опасности», – занёс в блокнот первую запись.

Разинув рот, народ с удовольствием глазел на дворец великого князя Сергея Александровича, который радовал сердца либералов выбитыми окнами.

– Все зеркальные стёкла со стороны Фонтанки и три с Невского расколошматили, – прошептал профессор извозчик, проезжая мимо дворца. – Поленьями жарили... Да стёкла какие крепкие – р-раз, р-раз по ём, а оно всё цело, – расстроился рассказчик. – За камни браться пришлось... Я тоже немного подсобил, – скромно сообщил он. – Газетный киоск, что супротив Казанского собора и окна в кондитерской Бормана, разохотившись и для сугрева, расколотили вдребезги...

«Внёс увесистой булыгой свою лепту в дело освобождения труда от эксплуатации», – закончил стержневой очерк Рубанов.

– Останови-ка мил человек, – велел Георгий Акимович. – Гляну, чего публика собралась, – выбрался из саней у дома Строгановых возле Полицейского моста.

Оказалось, что прохожие, половину из которых составляли «дамы и разных сортов девицы», как записал в блокноте, разглядывали следы от пуль, белевшие выбоинами на тёмно-коричневом фоне стены.

Но вволю поглазеть толпе помешал проезжавший мимо патруль конных городских.

– Чего встали?! – начали они расталкивать зевак крупами коней, услаждаясь руганью и воплями «разных сортов девиц». – Осади на панель... Там ваше место, – насмешливо советовали им.

Одна из разносортных дам, визжа что-то скабрёзное, метнула в полицейского офицера плюшевой муфтой, сбив с его головы высокий, пирожком, головной убор, увенчанный чёрным султанчиком.

Ловко прыгнув на землю, офицер не сильно, но обидно, хлестнул девицу нагайкой по заднему месту, круто топорщившемуся из-под короткой, на ватине, кофты, благодаря подшитой под юбку удлинённой подушечке.

Стоявший рядом приказчик радостно загоготал, а студент что есть мочи завопил: «Опричники-и».

– Фараоново племя-я! – поддержал его приятель.

Получившая по подушечке проститутка звонко выводила гласную букву «А».

«Один студиоз, судя по тёмно-зелёной шинели с синим кантом на наплечниках и золотыми пуговицами с орлом – из моего университета. Другой – в чёрной шинели с серебряными пуговицами и наплечниками с зелёным кантом и вензелем Александра Первого на них – из института инженеров путей сообщения. Вот и чёрная фуражка, что с него городской сшиб, с эмблемой топора и якоря на кокарде... Да что это со мной? Старшему брату уподобился с формой одежды», – наблюдал, как спешившийся городской погнался за убегающим студентом-путейцем, но плюнув, вернулся назад.

Толпа быстро рассеялась.

«Богу тоже надо развлекаться, вот он и создал человека», – усевшись в сани, стал записывать в блокнот: «Возле Полицейского моста полуэскадрон конной полиции напал на мирно гуляющую публику, состоящую в большинстве из женщин и детей, начав рубить её шашками. Когда один из присутствующих студентов вырвался из лап опричников и стал убежать, городской догнал его и рубанул шашкой по голове, воскликнув при этом: «Бей их! Они нам с утра надоели!» А портниху Б...» – нет, буква «Б» может дать нехороший намёк, переправил на «А»: «...у дома Строгановых озверевший офицер ударил нагайкой по лбу, выбив глаз, отчего теперь ей будет трудно зарабатывать честным трудом на хлеб насущный, и она вполне может ступить на скользкий путь проституции...», но подумав, последнее предложение вычеркнул.

Набрав информации, через несколько дней решил навестить Шамизона. Лиза напросилась ехать с ним.

– Дома всё время сижу, – надула тонкие губы и, глянув в зеркало, отвела с виска выбившуюся из причёски светлую прядку волос.

«Надутые губы ей больше идут. Красивая барышня выросла», – с любовью оценил дочь.

– Ну что ж. Собирайся, коли надумала, – дал согласие.

Квартира Абрама Самуиловича Шамизона напоминала растревоженное осиное гнездо.

– А вот и наш пг-гофессог, – возбуждённо закартавил хозяин, – с доней своей ненаглядной, – сгорбатившись буквой «Г», слюняво чмокнул руку девушки.

«Как мухи на варенье кинулись», – скрыл усмешку, подёргав щекой якобы от нервов Рубанов, глядя, как выстроились в очередь лобызать ручку дочке юные: Шамизон, Шпеер и Муев.

– Знакомьтесь, уважаемый Геоггий Акимович, – суетился Шамизон, усаживая гостей за стол. – Господа: Г-гузенбег-г...

«Значит – Грузенберг», – перевёл на литературный русский фамилию Рубанов.

– Люстик, – с облегчением вздохнул Шамизон. – Пассовег-г: «Опять эта «Г» на конце», – расстроился он. – Слонимский: «Хорошая фамилия» – Винавег-г... Знаком вам ещё по «Бюг-го защиты Евгтеев: «Чего-то заикаться на букве «Г» начал». – А тепегь эти известные столич-ные, – хотел произнести: «присяжные поверенные», но сказал, – адвокаты на общем собгании обгазовали: «Хоть заикаться перестал», – независимую комиссию, чтоб газобгаться в случив-шейся тгагедии. Назвали её «анкетной» комиссией, так как пгведут анкетигование участни-ков известных событий девятого янвагя...

– Гастгела! Называй вещи своими именами, Абгам, – выронил из глаза монокль папаша Шпеер.

– Я, можно сказать, тоже провёл анкетирование, – вытащил из кармана исписанный блок-нот Георггий Акимович. – Сейчас оглашу показания свидетелей, господа. Вот, например: 11 января, около 5 часов дня студент университета Рудницкий шёл со своей квартирной хозяйкой Лаптевой по Большому проспекту. Никакой толпы не было. Шли редкие прохожие. Навстречу из-за угла выехал взвод улан. Студент прижался к стене, но несколько кавалеристов выехали на тротуар и закричали: «Бей их всех!» Студент попытался бежать, но спешившиеся уланы догнали его...

– И изрубили шашками, – записывал карандашом в свой блокнот показания Рубанова курчавый присяжный поверенный. – А домохозяйку, как её?.. – защёлкал тонкими пальцами, выжидательно глядя на профессора.

– Лаптева, – подсказал тот.

– Ага! Её взвод улан изнасиловал, – обрадовался Шпеер.

– Нет! Зачем барыньке столько удовольствия, – хохотнул один из адвокатов. – Её просто ударили шашкой.

– Господа! – призвал развеселившуюся комиссию к порядку Винавер. – Давайте будем серьёзнее. Ведь в этой бойне пострадали и евреи. Что там у вас далее? – заинтересованно глянул на Рубанова увеличенными от линз очков глазами.

«Словно филин», – опять подёргал щекой Георггий Акимович:

– Один купец рассказал... Я к нему блокнот с карандашом зашёл купить. Что видел из дверей своей лавки, как казаки остановили конку, всех из неё выгнали...

– Пинками и прикладами винтовок, – подсказал Люстик.

– Пусть будет так, – кивнул головой Рубанов и продолжил: – И стали полосовать шашками студента. Купец вышел заступиться, но получил шашкой по голове.

– А штыком в живот, – внёс долю садизма в лирическое описание события Грузенберг.

– Беднягу повалили в снег...

– Лаптеву? – вновь выронил монокль Шпеер.

– Это уже за купца гассказ, – разочаровал товарища Шамизон, пригубив коньяк.

– Купец вскочил на ноги, – вдохновенно читал запись Рубанов, не обращая внимания на комментарии, – ... и забежал в лавку. За ним ворвались четверо солдат...

– И столкнулись в спальне с его женой...
– Ну скажи мне, Шпеер, откуда в магазине спальня? – остудил воображение друга Шамизон.

– Ну тогда в кладовке, – не сдавался тот.

Присяжные поверенные осуждающе покачали головами, а Рубанов продолжил:

– Купец спрятался, и солдаты его не нашли.

– Так не пойдёт, – возмутился Пассовер. – Ещё как нашли...

– Вместе с женой, – успел вставить Шпеер, доставая из рюмки с коньяком монокль.

– ... И изрубили, – закруглил мысль адвокат, не слушая хлопчатобумажного фабриканта.

– В общем, господа, случаев немотивированных нападений очень много, – захлопнул блокнот Рубанов и по памяти доложил: – Степана Жданова, вышедшего за кипятком на четырнадцатой линии Васильевского острова, ранили выстрелом в нижнюю челюсть; рабочего Павла Борового, стоявшего возле своего дома на одиннадцатой линии, казаки ударили нагайкой по глазу и прикладом по голове...

«Евреев среди жертв нападения нет», – обрадовался Шамизон и поднялся с рюмкой в руке из-за стола.

– Господа! Помянем жертв кровавого цагского гежима, – предложил весьма уместный тост.

– Долой царизм! – поддержал его Муев, с любовью глянув на профессорскую дочку, всё не решаясь позвать её на свидание.

– Один из участников событий рабочий Карелин сообщил, что убитых четыре тысячи, а раненых – до семи с половиной. Те цифры, что опубликовали в «Правительственном вестнике» – ложь и обман народных масс, – взял слово Винавер.

– А тост какой? – ждущее поднял рюмку с коньяком Шпеер.

– Евреи всех стран – объединяйтесь! Какой же ещё? – хохотнул Винавер, отведав коньяка. – А что, господа, творит вновь назначенный генерал-губернатор, – выпучив глаза, оглядел собравшихся.

Шпеер, на всякий случай, придержал пальцем монокль.

– ... Мало того, что весь город обклеили воззваниями к рабочим, утверждающими, будто пролетариат завлечён на ложный путь обманом неблагонамеренных лиц, – окинул взглядом гостей. – Так ещё этот сатрап имел наглость вызвать к себе редакторов газет: «Новое время», «Русь», «Биржевые ведомости» и «Петербургский листок», которые в числе прочих, подписались под заявлением о созыве Земского собора, подразумевая – Учредительное собрание... Трепов так и понял. Потому посоветовал редакторам снять свои подписи. А редактору «Биржёвки», где поместили заметку, что её сотрудник Баранский внезапно скончался 9 января, хотя всему Петербургу известно, что он убит у Александровского сада, и вовсе вынес «предостережение». Ибо, по его мнению, газета нарушила запрет – ничего не сообщать о событиях 9 января. Такой цензуры давно не было, – подвёл итог сказанному.

– Цензуру ещё до Трепова ввёл Святополк-Мирский, – поднял рюмку с коньяком Пассовер. – И отдал приказ своим псам арестовать самого Горького. Алексей Максимович, полагая, надумал скрыться за границей, потому как писателя нашли в Риге и этапировали в Петербург, препроводив в Петропавловскую крепость.

– Что инкриминируют? – заинтересовались присяжные поверенные – кусок-то лакомый.

– Обвиняют в составлении прокламации, в коей призывал к свержению самодержавия. Но вы не суетитесь. Адвокат у него уже есть... К тому же за сочинителя хлопочет сам Савва Морозов со всеми своими миллионами, – ядовито ухмыльнулся, глядя как пустили слюнки его коллеги. – Как говорится – ничто не ново под полицейским солнцем. Оказался таким же бурбоном как Сипягин или Плеве.

– Даже хуже! Пги Плеве с Сипягиным гасгелов в январе не наблюдалось, – внёс свою лепту в обсуждение министра Шамизон. – Господа, – поднялся он из-за стола. – Пгедлагаю выпить за то, чтоб министгами внутгенних дел и юстиции стали кто-нибудь из вас, пгисяжных повегенных Петегбургга...

– Мирский, говорят, уже написал прошение об отставке, – поднялся следом за Шамизоном Рубанов. – Нет бессменных министров внутренних дел. В министерстве бессменны только швейцары. Так выпьем, господа, за демократическое государственное устройство России, при котором управлять станут не аристократы, а умные люди, возможно даже еврейской национальности.

Тост прошёл на ура!

Вскоре присяжные поверенные вместе со всей Россией узнали, что кроме градоначальника Фуллона отстранён от должности «по болезни» министр внутренних дел Святополк-Мирский, с разрешением на одиннадцать месяцев уехать лечиться за границу. Министр юстиции Муравьёв получил назначение в Рим на должность посла.

Высочайшим указом, данным правительствующему Сенату 20-го января, член Государственного Совета, бывший помощник Московского генерал-губернатора гофмейстер А.Г. Булыгин, назначен министром внутренних дел.

За день до этого назначения Николай принял в Александровском дворце Царского Села депутацию рабочих, которых тщательно отобрал и подготовил к встрече генерал-майор Трепов.

– Аликс, я обязан объясниться со своими тружениками, – пил кофе вместе с супругой Николай.

– Ники, надеюсь, их обыскали и забрали ножи и наганы, – рассмешила она супруга.

– И пушки тоже, – промокнув салфеткой губы, чмокнул жену в щёку.

– Ники, ты шутишь, а я чуть не умерла от страха на Крещение, – перекрестила его спину, когда муж направился к двери.

Перед входом в Портретный зал, где собрали на аудиенцию рабочих, императора ждали барон Фредерикс, Трепов, дворцовый комендант Гессе и несколько человек Свиты.

Когда император в сопровождении сановников вошёл в зал, рабочие, по русскому обычаю, низко поклонились ему – Трепов раз десять показал, как это следует делать.

Достав бумажку, Николай прочёл составленную генерал-губернатором речь – заучить поленился, да и не было времени: «Я призвал вас для того, чтобы вы могли лично от меня услышать слово Моё, – что-то слишком на-пыщенно, – подумал он. – Прискорбные события с печальными, но неизбежными последствиями смуты произошли оттого, что вы дали себя вовлечь в заблуждение и обман изменникам и врагам нашей родины...»

Слушая императора, рабочие вздыхали и крестились.

Закончив речь и сунув шпаргалку в карман, царь подошёл к ним и заговорил просто и понятно:

– Приглашая вас идти к Зимнему, где меня в тот день не было, враги государства подняли вас на бунт... Ведь идёт война и все истинно русские люди обязаны не покладая рук трудиться, чтоб одолеть супостата. А вы ему помогаете... – с удовольствием заметил, что некоторые покраснели от стыда, а кое у кого на глазах вступили слёзы.

После приёма их отвели в Знаменскую церковь, а потом в здание лицея, где сытно накормили обедом, одарив подарками на память, и вручили отпечатанный на гектографе текст царской речи, отправив затем на экстренном поезде в Петербург.

На перроне счастливицков уже встречали...

– Вы что, голову ослабили? – когда отошли от вокзала, выбил у одного из депутатов подарок и растоптал его Северьянов.

– Теперь станете рабочим внушать, какой добрый царь-батюшка и какие мы злыдни, коли пошли его беспокоить девятого числа, – ударил другого рабочего Шотман.

Стоявший рядом с ним Дрищенко обличительных слов не нашёл, а просто стал избивать пожилого работягу с Путиловского завода.

– Мы тут бьёмся с лавочниками, чтоб цены на керосин не поднимали, на свечи и хлеб, а вы к царю на поклон, – метелил следующего депутата Шотман.

– Николашка что ли позаботится, чтоб лабазники лишнюю копейку с вас не брали, – обрабатывал кулаками работника с Невского судостроительного Северьянов.

После проведённой воспитательно-разъяснительной работы ни один из депутатов на работу после забастовки не вышел, боясь угроз и избиений.

Часть из них покинула Петербург, а некоторые даже сменили фамилии.

«Неча по царям ездить!» – было общее трудовое мнение.

Николай, не зная последствий «неизгладимых впечатлений о царском приёме, после которого довольные и счастливые, с весёлыми лицами возвратились в Петербург рабочие», так писали газеты, занёс в дневник: «19 января. Среда. Утомительный день... Принял депутацию рабочих. Принял Булыгина, который назначается министром внутренних дел. Вечером пришлось долго читать; от всего этого окончательно ослаб голову».

Свою лепту по успокоению рабочих внесла и церковь. Как сообщили репортёры, на следующий же день после «рокового несчастья» рабочие Путиловского завода попросили митрополита принять их.

Владыка принял депутацию из 5 человек. После беседы митрополит Антоний подарил каждому по Новому завету и образу Александра Невского.

Этих Шотман с Северьяновым не били – другие не поймут. Церковь пока оставалась святою. Не Она же приказывала стрелять и разгонять...

Не поколебало это мнение даже то, что 20 января священник Гапон был отлучён от церкви и лишён сана за то, что без разрешения духовных властей организовал крестный ход, побуждая рабочих идти к царю, а также двукратно не явился к Антонию для объяснения о своём участии в забастовке путиловских рабочих.

* * *

В Москве, воскресным морозным днём в трактире Бакастова, что у Сухаревой башни, за столом сидели два абсолютно не подходящих для общей компании человека.

Посетители, пряча глаза, нет-нет с любопытством бросали взгляд на барина-англичанина в чёрном пальто, с блестящим цилиндром на столе у стопки с водкой, и небритого извозчика в драной поддёвке, с небрежно брошенным малахаем у тарелки со щами.

Наворачивая щи, небритый извозчик что-то рассказывал коротко стриженному господину, с подкрученными кверху усами. Говорил тихо, нервно дрожа рукой с хлебом:

– Знаешь Борис, после девятого января великий князь Сергей из Нескучного дворца переехал в Никольский, что в Кремле, – расстроено откусил хлеб. – И два месяца наблюдений пошли насмарку. Как выражаются теперешние мои коллеги – коню под хвост, – громко хлебал щи.

«Ну Янек, как перевоплотился, совершенно настоящий извозчик, если глянуть со стороны», – мысленно похвалил Савинков Ивана Каляева.

Не догадываясь о данной ему оценке, тот продолжал:

– Вопрос решается намного тяжелее, нежели с Плеве, – огляделся по сторонам – не услышал ли кто, и, снизив голос почти до шёпота, засипел: – Чего стоило выправить паспорт на имя подольского крестьянина, хохла Осипа Ковалёва, и стать своим среди извозчиков... А новый товарищ по партии Моисеенко, неопытен ещё, но быстро растёт. Тоже своим стал на извозничьем дворе. Единственно – лошадку дрянную купил..., – хохотнул он, утерев со лба ладонью пот. – Помнишь? В ноябре ишшо, – шутя выделил «ш».

– Помню! – поддержал друга Савинков. – Эта захудалая лошадёнка кончила тем, что брякнулась вверх копытами за Тверской заставой...

– Откинув копыта, клячонка сорвала нам всё наблюдение, – улыбнувшись, засипел Каляев. – В ноябре великий князь на Тверской площади жил, во дворце генерал-губернатора. Сколько сил приложили, чтоб это узнать. В адрес-календаре ведь сведений о нём нет... Наш московский комитет забросал его письмами с угрозами и, видно поэтому, он переехал в Нескучный дворец. Вместо короткого пути от Тверской площади до Кремля, ему приходилось ехать несколько вёрст. Прежде к Калужским воротам и затем к Москве-реке через Пятницкую, Большую Якиманку или Ордынку. Только мы с Моисеенко выяснили его маршрут – на тебе... Переехал в Николаевский дворец. Борис, ну почему ты не хочешь подключить к покушению на царского дядю наших московских товарищей? – отложив ложку, требовательно уставился на друга.

– Чем меньше людей в теме, тем меньше угроза провала, – выпил рюмку водки Савинков и закурил трубку – англичанин всё-таки.

– Не стоило бесконечно откладывать теракт. Мы знали маршрут, установили выезд князя, – задрожал рукой, закуривая папиросу, Каляев.

В эту минуту Савинкову до такой степени стало жаль друга детства, что на глаза чуть не выступили слёзы... А может и выступили... Законспирировавшись дымом от трубки, не по-английски, ладонью, смахнул их, подумав: «Последние дни вижу живым Ивана. И он, наверное, чувствует приближение конца своей жизни... И это предчувствие отражается в нём не страхом, а постоянным нервным напряжением... И подъёмом...»

– ... Экипаж изучил, как некогда карету Плеве. Борис, у тебя словно не трубка, а паровозная труба... Вот и коптишь, аж глаза слезятся... Ты меня слушаешь?

И на утвердительный кивок, продолжил:

– Отличительными чертами великокняжеской кареты являются белые вожжи и белые, яркие, ацетиленовые огни фонарей. Только великий князь и его супруга ездят с таким освещением. Чтоб не спутать их кареты, мы с Моисеенко отличали их по кучерам... И вот: вожжи, хлыст, мочало – начинай всё сначала... Такой получается детский стишок... Да ещё следить придётся в Кремле. Там полиции на порядок больше, – разлил по рюмкам водку.

– За тебя! – вновь чуть не заплакав, что совершенно несвойственно террористу, махом сглотнул свою порцию Савинков.

– Побеждающему дам Звезду Утреннюю! – взгляделся в прозрачность жидкости, словно в вечность, его друг.

Плюнув на конспирацию, конец-то один – виселица, Каляев подгонял сани к Царь-пушке, где извозчики никогда не стояли, и наблюдал за Николаевским дворцом.

К его удивлению, городовые не обращали на него внимания.

«Эх, Рассея-матушка, – отчего-то осудил их эсеровский боевик, – велика ты, а порядка в тебе нет... Даже в Кремле», – в наглую стал ставить сани почти у ворот дворца.

Но и оттуда его никто не гнал.

«Запросто можно с бомбой князя караулить. В следующую встречу скажу Борису, пусть велит Доре Владимировне привезти две адские машины из Нижнего Новгорода в Москву. Как он с ней связь держит? – от скуки стал размышлять над посторонними для него вещами – из

ворот никто не выезжал. – Наверное, зашифрованную телеграмму шлёт... Срочно вези в Москву два горшка с геранью». – улыбнувшись, принялся хлопывать себя руками.

Морозило...

Случайно в деле покушения помог приехавший в Москву Рутенберг.

На вокзале он купил газету, из которой Савинков узнал, что Его высочество великий князь Сергей 2-го февраля посетит Большой театр, где состоится спектакль в пользу Красного Креста.

– Господа... Извините... Товарищи! – собрал членов организации в гостинице «Славянский Базар», в номере которой остановилась Дора Бриллиант.

– Далее откладывать покушение не имеет смысла, – поочерёдно оглядел собравшихся Савинков. – Кроме Каляева, Моисеенко, Доры Владимировны и меня, у нас новый член организации... Куликовский. Проверенный товарищ и горит желанием принять участие в терроре. Неизвестно, в котором часу великий князь поедет в театр, поэтому будем ждать его от начала спектакля и до конца. До вечера второго февраля, господа...

За час до спектакля, в 7 часов вечера, Савинков приехал на Никольскую к «Славянскому Базару», и в ту же минуту увидел, как из подъезда вышла Дора Бриллиант со свёртком в руках.

«Бабы и есть бабы! – Приблизившись к ней, разглядел, что бомбы она завернула в гостиничный плед. – А если бы на выходе швейцар привязался: куды, мол, мать, казённу вешть тащишь, и чаво в неё ишшо навертела?» – заиграл желваками, но свои мысли озвучивать не стал, улыбнувшись нервно оглядывающейся по сторонам женщине.

С трудом вырвав из слабых дамских ручек плед с адскими машинами – на нервах женщина, кивнул ей, предлагая идти за ним.

Свернув в Богоявленский переулок, Савинков развязал плед, переложив бомбы в интуитивно взятый саквояж.

– Теперь в Большой Черкасский, – подхватил даму под руку. – Там Моисеенко на санях ждёт, – пнул ногой плед. – А за утерянный гостиничный инвентарь, как станешь выезжать, штраф заплатишь, – легонько потряс её за плечо, предлагая расслабиться.

Сев в сани, поехали на Ильинку, где встретили Каляева и передали одну из бомб.

– С Богом, Янек, – попытался подбодрить товарища Савинков.

– Скорее – с дьяволом, – сурово произнёс друг. – Бог бы нас осудил, – растаял он в темноте.

Вздохнув, велел Моисеенко ехать на Варварку, где ожидал Куликовский.

– А теперь отвези меня в Александровский сад и езжай на извозничий двор. Если что, куча свидетелей скажет, что ты – ни причём. А вы, Дора Владимировна, возвращайтесь в свою гостиницу разбираться с утерянным имуществом, – попытался вызвать улыбку на лице женщины, но этого не получилось.

«Похолодало как. Да ещё и вьюга начинается», – приплясывая, стучал ногой об ногу Каляев, расположившись в тени крыльца думы и вглядываясь в пустоту площади.

В начале девятого от Никольских ворот показалась карета великого князя: «Только у него столь яркие огни фонарей, – замер он, до судорог в пальцах сжимая бомбу. Карета свернула на Воскресенскую площадь. – Он! Вон и кучер Рудинкин на козлах сидит... И ни жандармов рядом, ни охраны... Э-эх! Рассея-матушка», – побежал наперерез карете, жалея в душе кучера, и увидел рядом с великим князем его жену и детей великого князя Павла – Марию и Дмитрия. – Нет! Детей убить не могу», – опустил руку с завернутой в ситцевый платок бомбой, и под окрик Рудинкина:

– Кнутом-то огрею, пьянь, чтоб под колёса не лез, – медленно поплёлся в Александровский сад, где ждал окончания дела Борис Савинков.

– Янек! Живой! – бросился тот обнимать его, радуясь, что вновь видит друга. – Князя Сергея в карете не было?

– Напротив, был..., – отстранился от товарища Каляев, кладя к ногам бомбу. – Но рядом были жена и дети... Мы не имеем права убивать детей. А если имеем – то зачем тогда всё? Ты осуждаешь меня? – требовательно глядел в глаза, ища в них поддержку и понимание.

– Да, ты прав, Янек. Тысячу раз прав. Мы не можем убивать детей..., – вспомнил, что Азеф присвоил Каляеву псевдоним «Поэт». – Успокойся. – потряс за плечо, заметив струйку пота, стекающую из-под косо сидящей на голове шапки. – Успокойся! Ты поступил правильно и никто тебя не осудит.

Каляев что-то хотел сказать, но от волнения не сумел, благодарно пожав товарищу руку.

– Спасибо, Борис, – наконец справился с волнением. – Другого я от тебя и не ждал...

– Чего, князя не было? – запыхавшись, подбежал к ним Куликовский. – Жду, жду, а взрыва нет... И в мою сторону никто не поехал, – тоже положил к ногам бомбу, и трясущимися руками достал папиросу.

Сняв её, выбросил в снег, а следом полетела и другая.

– Там были дети! – произнёс Савинков. – И Иван не стал бросать бомбу.

– Д-дети?! – закурил, наконец, Куликовский, о чём-то раздумывая. – Детей убивать нельзя, – выбросил недокуренную папиросу. – Я ведь никогда не думал, что от взрыва могут погибнуть дети... Ведь наши враги живут не в безвоздушном пространстве, где вокруг никого нет... Ведь рядом с ними жена и дети...

Чтоб привести в чувство находящихся в прострации товарищей, Савинков решил отвлечь их от переживаний и ненужных размышлений каким-нибудь делом.

– Господа! А пойдёмте к Большому театру и узнаем, там ли великий князь с женой и детьми.

Подняв бомбы и совершенно не беря в расчёт, что несут БОМБЫ, – тихим прогулочным шагом направились к театру.

– Сейчас разведая, ждите, – подошёл к кассе Савинков и напрягся, обхватив в кармане пальто рукоять браунинга – к нему бежали два человека в расстёгнутых шубах.

– Билетов в кассе нет, купите у нас, – дурными голосами орали они.

Как давеча у Каляева, по его виску сбежала из-под цилиндра тонкая струйка пота. «Бросить бы в каждого из вас по бомбе... Показалось – филёры бегут», – разозлился он.

– Билеты куплю, – сдерживая дрожь голоса, спокойно ответил перекупщикам. – Великая княгиня в театре?

– Так точно-с, ваше степенство. С четверть часа как изволили прибыть... Вместе с мужем и детьми, – ответили на все заданные и не заданные вопросы.

– Господа, – подошёл к товарищам Савинков. – Предлагаю дожидаться конца спектакля. Может, великой княгине подадут её карету, а Сергей Александрович поедет один... А пока прогуляемся по первопрестольной. Ночные жулики вас, надеюсь, не страшат? – попытался пошутить, но не увидел даже тени улыбки на лицах друзей.

Компания вышла на набережную Москвы-реки. Пытаясь разговорить Каляева, Савинков взял его за свободную от бомбы руку. Но тот, опустив голову, размышлял о чём-то своём и на вопросы не отвечал.

Куликовский брёл за ними, громко стуча подковками на каблуках сапог.

«Как конь Моисеенко», – подумал Савинков, мысленно отметив, что шаги Куликовского затихли.

Обернувшись, увидел, что тот, свесив голову, с трудом стоит на ногах, опершись о гранитные перила.

– Сейчас упадёт, – шепнув Каляеву, поспешил к товарищу.

– Возьмите бомбу. Сейчас её уроню, – со спазмами в голосе прохрипел террорист-неудачник.

«Всё. Покушение полностью сорвалось», – убирая в саквояж адскую машину, понял Савинков.

Неожиданно вид раскисшего друга придал сил Каляеву.

– Борис, верь мне. Я обязательно ликвидирую князя, – тряся Савинкову руку с саквояжем, жарко шептал тот. – Обязательно ликвидирую...

Проанализировав рабочий режим великого князя, рассудили, что 4-го числа, в обязательном порядке, он поедет в свою канцелярию на Тверской.

На этот день и назначили покушение.

4-го, в пятницу, Савинков пришёл в номер гостиницы и забрал у Доры адские машины, положив их в свой вместительный саквояж: «А то в другом плёде вынесет, или в скатерти какой», – усаживаясь в сани Моисеенко, попытался подбодрить себя шуткой.

Передав бомбу Каляеву, стали ждать Куликовского. Но тот так и не явился.

«Да что за невезение? – совершенно расстроился и растерялся Савинков. – С одним метальщиком начинать акцию рискованно. Ставить Моисеенко опасно. Он извозчик. Его арест повлечёт за собой открытие полицией приёмов нашего наблюдения... Потом совершенно невозможно станет кого-нибудь ликвидировать... А у нас на очереди: Трепов, Клейгельс и иже с ними... Что же предпринять? – сидя в санях, размышлял он. – Я в этот раз тоже не подготовлен. У меня английский паспорт и при аресте подведу Джемса Галлея. Придётся теракт отложить на неопределённое время».

– Я один его уничтожу! – догадавшись о раздумьях товарища, уверенно произнёс Каляев. – Всё беру на себя. Если великий князь поедет, я убью его. Верь мне, – до боли сжал ладонь приятеля. – Моя вина была, мне и исправлять, – уже тихо закончил он, глядя пустыми глазами в безбрежность небытия...

И Савинков с уверенностью понял, что сегодня всё получится...

В это время с козел раздалось:

– Решайте скорее, пора!

– Прощай Янек, – ответно сжал его ладонь.

– Прощай Борис, – держа под мышкой бомбу, вразвалочку и не оглядываясь, Каляев направился к иконе Иверской Божией Матери.

Но не молиться.

Дежуря здесь, он заметил, что на углу прибита в стеклянной рамке патриотическая картина, в стекле которой как в зеркале, отражалась дорога от Никольских ворот. Якобы разглядывая картину и не привлекая внимания, можно заметить выезд великого князя.

В 2 часа пополудни он заметил карету и направился через Никольские ворота в Кремль, к зданию суда.

Навстречу ему ехала великокняжеская карета с зевающим кучером Рудинкиным на козлах.

Пора... Время замедлилось и почти остановилось, как бывает в роковые минуты, и в голове зазвучало: «Третий Ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод...»

Губы его шептали за голосом в голове слова и с криком:

– Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни, – он бросился к карете и с четырёх шагов с силой метнул в неё бомбу.

Голос в голове смолк и к своему удивлению он не услышал грохота взрыва, а увидел, как в абсолютной тишине разлетелась карета, и вместе с её обломками, полетели ошмётки кровавого

мяса, один из которых чувствительно ударил убийцу по щеке, приведя его в чувство. И он воспринял звуки и запах ада от взрыва адской машины.

У него закружилась голова. Неподальёку стонал кучер, что-то кричали набежавшие люди и вновь в голове возник голос: «Имя сей звезды – полынь, и третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки», – ощутил, как чьи-то руки схватили его и куда-то потащили.

Полностью он пришёл в себя сидя между двух полицейских в санях.

Голова страшно ломилась, а всё тело болело, словно это его разорвало на куски.

«Следует сказать что-то подобающее случаю», – подумал он, проезжая мимо здания суда с битыми окнами и испуганными в их проёмах лицами.

А в голове опять шумело, и вновь зазвучал голос: «Четвёртый ангел вострубил, и поражена была третья часть солнца, и третья часть суши, и третья часть луны, и третья часть звёзд».

Когда его грубо выдернули из саней у Якиманской части, он прохрипел про деспота, что сидит в его мозгах:

– Надо его удалить... Избавиться от него, – хрипел он, страдая от адской боли в голове.

– Чего говорит? – спросил у одного жандарма другой.

– Ясно чего: Долой деспотизм...

– О-о! Сенсация! – стал записывать в блокнот случайно оказавшийся возле части судебный репортёр: «Революционер громко кричал: Долой деспотизм! – подумал и приписал: Долой самодержавие!, – и с обидой глянув на оттолкнувшего его жандарма, дописал: Бей сатрапов и царских опричников».

Ещё сани с убийцей не успели доехать до Никольских ворот, как к останкам мужа бросилась Елизавета Фёдоровна. Она гладила тёплую ещё руку и беззвучно рыдала, глядя на то, что несколько минут назад было её мужем – высоким и красивым человеком.

Любопытная толпа напирала, так как полиция ещё не прибыла, чтоб её оттеснить от обломков кареты и останков великого князя.

– Гляди-ка, – услышала княгиня чей-то голос, – голову разорвало, хоть раз в жизни Серёжка пораскинет мозгами...

Яростно сверкая глазами, она бросилась к толпе, и отталкивая то одного, то другого зеваку измазанными в крови мужа руками кричала:

– Как вам не стыдно... Человека убили... А вы даже шапки не снимите...

Кто-то снял, а большинство, внутренне ухмыляясь, наслаждалось видом убитой горем женщины.

– Люди! Да что с вами? – крестясь, подошла к толпе нищенка. – Ведь ЧЕЛОВЕКА убили...

Император, узнав о случившемся, заперся в кабинете, велел дежурному камердинеру никого не пускать, даже жену.

Через два часа, выйдя с влажными, покрасневшими глазами, играя скулами, протянул генерал-адъютанту исписанный лист.

Вечером вышел манифест: «Провидению угодно было поразить Нас тяжёлою скорбью: любезный дядя Наш, Великий Князь Сергей Александрович, скончался в Москве в 4 день сего февраля на 48 году от рождения, погибнув от дерзновенной руки убийц, посягавших на дорогую для Нас жизнь Его. Оплакивая в Нём дядю и друга, коего вся жизнь, все труды и попечения были непрерывно посвящены на службу Нам и Отечеству, Мы твёрдо уверены, что все наши верные подданные примут живейшее участие в печали, постигшей Императорский Дом Наш».

Но в подданных печали как раз-то и не было.

Генерал Трепов убедился в этом, читая рапорт директора Департамента полиции Лопухина: «Лишь небольшая часть рабочих проявляла какое-то сожаление о гибели великого князя. В среде интеллигенции царило буквально ликование, а студенты известие о гибели великого князя встречали аплодисментами и возгласами «Долой самодержавие». Крупная интеллигенция ведёт широкий сбор денег на покупку оружия; деньги жертвуют адвокаты, врачи, люди других профессий; значительные средства даёт на вооружение местное купечество».

«Бог поразил их глупостью, лишив разума и здравого смысла, – отложив рапорт, подумал Трепов. – Они даже не представляют, что будет с Россией и ними, ежели падёт самодержавие. Зато газеты, особенно московские, с огромным пиететом писали об убийце, используя такие обороты, как «стройный молодой человек», «умное интеллигентное лицо». – У него не лицо, а образа, – разглядывал фотографию убийцы, невольно сравнивая её с фотографией убитого князя, про которого писали, что у него лик мракобеса и изверга. – Охранительные силы лишились главной своей опоры, – расстроено подумал генерал. – Но у России есть ещё Я».

Скорбя у гроба убиенного супруга в Александровском соборе кремлёвского Чудова монастыря, и глядя на бесконечный поток людей, идущий поклониться праху великого князя Сергея, Елизавета Фёдоровна решила простить его убийцу.

7 февраля она навестила в тюрьме того, кто отнял у неё любимого человека, и простила его от своего имени и от имени мужа.

А люди всё шли и шли, опровергая донесения филёров о безразличии населения к смерти Сергея Александровича, и газеты переменили тон, сообщив в день отпевания 10 февраля: «Несмотря на будний день, тысячные толпы стремятся в Кремль отдать последний долг и поклониться праху мученически погибшего Великого князя. Перед воротами Кремля благоговейно настроенная толпа образовала живые шпалеры».

«Вот это другое дело, – читал московскую прессу генерал Трепов. – Дошло наконец – кого они потеряли. Что удивительно, – взял другую газету, – даже вождь ирландских террористов, незадолго до трагедии встречавшийся с великим князем в Москве, осудил это убийство, заявив репортёрам, что покойный генерал-губернатор был гуманным человеком и постоянно проявлял интерес к улучшению жизни рабочих».

Император на похороны не поехал...

– Ники, я не пушу тебя в Москву, – в истерике кричала Александра Фёдоровна.

«Будто простая крестьянка ведёт себя», – задохнулся от нежности к ней Николай. – Всё это от любви...»

– Слушай письмо сестры: «Всё, что мы переживаем в молитвах, помогает преодолеть это жестокое страдание. Господь дал благодатную силу выдержать. Знаю, что душа моего любимого обретает помощь у мощей святителя Алексея. Какое утешение, что он покоится в этой церкви, куда я могу постоянно ходить молиться». – А мы помолимся за твоего дядю на заупокойном богослужении в храме Большого Царскосельского дворца.

Первый раз в жизни император не воспринял на церковной службе успокоения: «Я никогда не прощу москвичам князя Сергея», – сжав зубы, думал он.

Большевики адски завидовали эсерам, провернув таким великое дело, и Владимир Ильич Ленин постепенно начинал задумываться о терроре,

провозгласив: «Нравственно всё то, что идёт на пользу революции». «Следует совмещать агитацию на фабриках и заводах с терактами. Но главное – необходимо созвать пленум Центрального Комитета партии, дабы они вынесли постановление о созыве съезда, – не чувствуя вкуса чая, размышлял он, сидя за ужином. – Текст письма составлен, следует зашифровать и отправить... На имя кого? – секунду подумав, решил, – лучше всего Красину».

– Наденька, – промокнул губы, осчастливив супругу ласковым к ней обращением.

«А то всё: «Надежда Константиновна, да Надежда Константиновна», – улыбнулась мужу.

– ... Следует отправить письмо в Россию, – глянул, как жена с готовностью поднялась из-за кухонного стола. – На имя Красина, – уточнил он.

– У меня уже и черновик заготовлен, – улыбнулась она. – Как грибы засаливать. Полиции будет интересно читать. А между строк «химией» впишу твоё послание, – радуясь, что нужна ему, пошла в комнату к письменному столу. – Сейчас зашифрую.

– Как учительница, ключом к шифру ты выбираешь стихи? – рассмеялся супруг, по привычке вставив большие пальцы рук в проймы жилета.

– У Красина ключ – «Песня Катерины» Некрасова, – тоже развеселилась она. – У твоего брата, Дмитрия Ильича – надсоновское стихотворение «Мгновение», а лермонтовская «Душа» – для Ивана Ивановича Радченко...

– Да что же это ты партийные тайны выдаёшь? Ведь даже в Швейцарии у стен есть уши... И в основном – меньшевистские, – в задумчивости стал ходить от окна к двери и обратно. – Чего только не пишут теперь Плеханов, Засулич и Старовер в своей новой «Искре», ругая старую, потому что там властвовал узурпатор, – вынув из проймы, потыкал в грудь большим пальцем, – и самодержец – Ленин. Именно так, – сам себе покивал головой, вернув палец на место. – Узурпатор и самодержец... На царя намекают, с властью которого боролись и продолжим бороться на будущем съезде... Как хорошо, что у нас есть своя газета «Вперёд». И как славно, что мы нашли на неё средства. Неважно, из каких источников. Пусть даже японских. Нравственно всё – что идёт на пользу революции.

Получив письмо, Леонид Борисович Красин активно взялся за созыв пленума.

«Прежде следует найти надёжное место... И приблизительно я уже знаю, где провести пленум. В Москве. У моего, на этот момент друга, писателя Леонида Андреева. Он всегда чем-то увлекается. На данный момент главное увлечение – революция. К сожалению, быстро остывает. Вот и следует воспользоваться ситуацией, пока он на подъёме. Как говорят хорошо знающие его люди, следом обязательно наступит гнетущая депрессия и начнётся злая истерика».

Как и рассчитывал Красин, знаменитый писатель любезно предоставил большевикам огромную, неудобную свою квартиру.

Осудив нелепый фокус на треноге у входной двери, члены ЦК поудивлялись набитым картинами, всякой ерундой и книгами комнатам, выбрав пустую и тёмную, с одной тусклой лампочкой в люстре.

Член ЦК Дубровинский зачитал переданное Красиным письмо – сам он задерживался, и немного поспорив, присутствующие стали голосовать.

За созыв съезда – шесть, против – три.

Дальнейшую работу пленума прервала полиция, куда поступил телеграфный донос, что 9 февраля на квартире писателя Андреева соберётся верхушка большевиков.

К утру, вся эта верхушка оказалась в Таганской тюрьме.

Красину повезло. Подъехав к дому, он заметил у парадного подозрительных субчиков, явно смахивающих на филёров, и велел извозчику не останавливаться.

Леонид Андреев впал в дикую истерику, на весь дом крича: по какому такому праву фараоново племя арестовало его гостей.

Поглазев на сердешного, жандармский офицер задерживать его не решился, рассудив: «Такая вонь в газетах подымется, что даже директор Департамента полиции задохнуться может, не говоря уже о начальнике штаба отдельного корпуса жандармов».

Николай Второй, к которому приравнивал Ленина Плеханов, издал в феврале три документа.

«Именной Высочайший указ Правительствующему Сенату, 1905, февраля 18-го.

В неустанном попечении об усовершенствовании государственного благоустройства и улучшении народного благосостояния Империи Российской, признали Мы за благо облегчить всем Нашим верным подданным, радеющим об общей пользе и нуждах государственных, возможность быть Нами услышанными».

Этим указом император предоставил населению «право частной законодательной инициативы по вопросам усовершенствования государственного строя и улучшения народного благосостояния».

Указ вызвал огромный поток писем от всех слоёв населения. И многие из писем, лично Николаем прочитанные, легли в основу его рескриптов по управлению государством.

Также император подписал рескрипт на имя министра внутренних дел Булыгина, в котором говорилось: «Я намерился привлекать достойнейших, доверием народа облечённых, избранных от населения людей к участию в предварительной разработке и обсуждению законодательных предположений».

Размышляя о словно по чьей-то команде начавшихся в стране беспорядках: забастовки в городах и сожжённые усадьбы в сельских районах, император думал, как умиротворить народ и прекратить начавшиеся бунты и стачки.

«Если, как мне докладывают, эсеры призывают крестьян грабить поместья, а революционеры всех мастей нацеливают народ на свержение монархии, то почему власть не может обратиться к патриотам своей державы и просто здравомыслящим людям с воззванием – встать на защиту родины и уберечь её от крови и распада...», издал манифест с призывом к «благомыслящим» слоям населения объединиться вокруг престола в борьбе со «смутой и крамолой».

* * *

Особо не задумываясь о событиях в европейской России, Маньчжурская армия жила своей жизнью.

В начале февраля, уютно расположившись, по военным меркам конечно, в рукотворной землянке, молодые офицеры конного отряда Мищенко с неописуемым наслаждением угощались смирновской водкой, мужественно доставленной из самой Москвы «вольнопёром» с университетским значком на груди – Олегом Владимировичем Кусковым.

– Благодаря цветку из букета великой княгини, все экзамены сдал на отлично, и, к ужасу профессоров и радости дядюшки, по его протекции, осенью прошлого года поступил вольноопределяющимся в твой полк, Глеб Максимович.

– Глеб, ты что, уже командир полка? – добродушно выпустил дым из трубки «партизан» Фигнер.

– К сожалению, пока хорунжий, господин подьесаул.

– А всё потому, что в гвардию служить не пошёл, – дурачась, выставил плечо с погоном Фигнер. – Четыре звёздочки, что означает чин штабс-ротмистра, а у казаков – подьесаула. А ведь на войну из своего лейб-гвардии уланского полка пошёл корнетом, поменяв, правда, на хорунжего. А как известно даже вольнопёрам – гвардейский чин на порядок выше армейского. Так что должен был сотником пойти – поручиком значит.

– Да понял, понял, господа. Но так как в штабах бардак и неразбериха, то переходили в младших чинах. Зато теперь справедливость восстановлена... И даже с лихвой, ибо получили заслуженное продвижение в чинах. Вот в гвардию после войны пойдёте, опять по звёздочке потеряете, – погладил сидевшую у ног грязную, худую, со свалывшейся шерстью борзую. – Мой брат уже в Рубановке, а из штаба пришёл приказ, что ему жалован чин армейского штабс-капитана.

Когда-то благородная псина, выпрашивая есть, умильно заглядывала в глаза, молотя при этом хвостом по земляному полу.

– Эх, Ильма, какой дурак тебя привёз сюда из России?! – кинул ей кусок хлеба Глеб, щедро макнув перед этим в банку с тушёнкой.

– Какой-нибудь гвардейский офицерик думал, что едет сюда развлекаться на охоте, – угостил собаку тушёнкой Фигнер. – Видимо, сам сделался для японцев дичью, коли собака без призора осталась.

– Да что собака, великий князь Сергей Александрович дичью стал. В самом центре государства, в Московском Кремле, среди древних духовных святынь взорвали командующего войсками Московского военного округа. Главное его стремление было поднять древнерусскую столицу как исконно русский центр... Выпьём за Георгиевского кавалера и патриота, господ.

Ссутулившись от низкого потолка, встали, и молча выпили за великого князя.

– А в январе, на Крещение, чуть государя картечью не убило.

– Да что в России творится? – разлил по стаканам остатки водки старший из казаков, подъесаул Ковзик. – Когда до войны в гвардейских гусарах служил, полный порядок в столице был.

– Вам, Кирилл Фомич, скорее следует в полк возвращаться, – захмыкал Фигнер.

– Молчи, «племянник», а то в отхожее место меня повезёшь, – улыбнулся Ковзик. – Золотые денёчки в нашей кавалерийской школе были. А сейчас что? Мне утром казак записку передал. На наши аванпосты, между прочим, подброшена, – достал из кармана и развернул листок: «Мы слышали, что через пять дней вы переходите в наступление. Нам будет плохо, но и вам нехорошо». – Вот такое предупреждение, господ.

– С чего это японцы взяли, что скоро наступление? Армия после Сандепу три недели отдыхает, и ни о каком наступлении не слыхать, – пожал плечами Фигнер. – Что? На ханшин перейдём? – опрокинул горлышком вниз пустую бутылку смирновской. – Всё хорошее когда-нибудь кончается, – обобщил ситуацию.

– Да и Мищенко в мукденском лазарете раненый лежит... Какое без него наступление? – поднёс к свече бутылку с ханшином Глеб. – В прошлый раз жабочку китаёзы подложили для крепости, – сообщил в основном вольнопёру. – Когда морду туземцу бил, тот верещал про хороший от этого нефритовый стержень. – Ну чего там, в Москве? – понюхав, стал разливать ядовитую жидкость.

– Город, благодаря убиенному губернатору, лопается от денег. В Москве теперь идёт гораздо более крупная игра, чем в Монте-Карло, – выпив, долго занюхивал плоской с бобами. – Ну и дря-я-я-нь, – с трудом выдохнул воздух. Закусывать не стал.

– Ты ещё собачатинку под соусом не пробовал, – с удовольствием оглядел сумевшего всё-таки справиться с тошнотой Кускова.

– Главное, про китайский деликатес из человеческих эмбрионов молчи, – доброжелательно поглядел вслед выбежавшему из землянки вольнопёру, Ковзик. – А с чего вы взяли, Олег Владимирович, что в Москве идёт крупная игра? – как ни в чём не бывало, спросил у вернувшегося москвича.

– О-о-х! – усаживаясь, громко простонал бывший студент. – Давайте за едой не будем о китайских деликатесах, – попросил он. – Так Михаил Абрамович Морозов в одну ночь проиграл миллион табачному фабриканту Бостанжогло. И хотя наши миллионщики заказывают себе отдельные вагоны. По телеграфу покупают имения, но наряду с этим делают и много полезного для города. Строят больницы, приюты для бездомных, открывают картинные галереи и поддерживают людей искусства.

– Лучше бы они офицеров Урало-Забайкальской дивизии поддержали, – выпив, произнёс Ковзик. – Водку бы нам присылали...

– Можно и коньяк, – размечтался Фигнер, закусывая тушёнкой с бобами.

– Купцы говорят, что через двадцать лет Россия станет самой процветающей страной мира, и Европа будет завидовать нам...

– Это хорошо! Может, к тому времени, и война закончится, – погладил Илью Глеб. – А я слышал, что другой Морозов, Савва, даёт деньги и либералам и социалистам, совершенно при этом не разбираясь в политике.

– Лучше бы он офицерам Урало-Забайкальской...

– Да поняли мы вас, каспадина Ковзик-сан... Не пошлёт он нам денег. А то революционерам ничего не достанется, – вновь погладил собаку Рубанов.

– Лучше бы проигрывал, – высказал своё мнение Фигнер. – Господин вольнопёр, а пойдемте, я вас научу гранаты метать, – вытащил из корзины какой-то предмет.

– Эта консервная банка на палочке и есть граната? – поразился Кусков.

– Граната штабс-капитана Лишина. А в этой, как вы образно выразились – консервной банке, хранится пироксилин. Слышали в университете, что это за бяка?..

Но обеспокоенные товарищи отобрали у подъесаула взрывоопасный предмет, вновь запахнув его в корзину.

– Ваши благородия, – пригнувшись, ввалился в землянку казак, сняв с головы чёрную папаху и втянув носом прекрасный аромат ханшина. – Так что, эта, господин полковник велели передать, что утром его превосходительство, генерал... как его... Ре-ме-енкам...

– Ренненкампф, – поправил станичника Фигнер.

– Ага! То есть – так точно, – согласно кивнул головой вестовой. – Назначает вылазку, – протянул замусоленный пакет.

– Благодарим, братец. На, согрейся, – нарушив все армейские правила, протянул нижнему чину стакан с ханшином Ковзик. – Как карты лягут, – оправдался перед товарищами, – может статься – последнюю ночь казачина живёт... Помните, под командой Мищенко в конце прошлого года «набег на Инкоу» произвели, как потом наш рейд по тылам противника назвали. Семь с половиной тысяч сабель с боем проломились сквозь японские позиции, переправились по льду через реку Ляохе, потеряв там много казацких душ, и двинулись громить вражеские тылы. Подожгли Инкоу, перебив несколько сотен гарнизона, были окружены подошедшим к японцам подкреплением, но с боями прорвались к своим, – рассказывая, махал рукой, словно рубил врага.

– Как такое забудешь? – достал вторую бутылку Фигнер.

– Нет, всё! – покрутил указательным пальцем из стороны в сторону перед его носом, бывший лейб-гвардии гусар.

– Слушаюсь, господин дядька, – безропотно положил бутылку в корзину с гранатами Фигнер.

– Завтра твой первый бой, вольнопёр, – Держись меня и будешь жить, – оптимистично похлопал по плечу Кускова Глеб. – А за восемь дней похода на Инкоу, как недавно подсчитал наш новый начальник штаба Деникин, мы с боями преодолели: двести семьдесят вёрст, уничтожили более шестисот японцев, казаки разобрали два участка железнодорожного полотна и с удовольствием сожгли восемь продовольственных складов.

– А их тушёнка и в огне не горит, – поднял банку Фигнер, весьма воодушевив собаку, но оставив её с носом. – На шесть суток прервали сообщения по телеграфным и телефонным линиям, пустили под откос два состава с боеприпасами, захватили несколько сотен пленных и, главное, триста повозок с имуществом...

– Ну да, господин племянник. Из восьми якобы сгоревших складов. Но и у нас среди казаков жертв немало... Поплачут в донских и кубанских станицах жёны с детишками. Ведь отряд формировали из казаков всех трёх армий. Новый начштаба определил операцию как малоэффективную, но полную мужества и отваги.

– Ну, хоть это признал. Сам в набеге участия не принимал.

– Да успокойтесь, господин московский хорунжий. Они с Ренненкампом в то время сопки охраняли, – ржанул Ковзик. – А вот проведённое Куропаткиным в январе наступление на Сандепу – действительно позорная страница этой войны. Впрочем, как и все им написанные. Ни одного выигранного сражения, – разозлился подъесаул, достав из корзины с гранатами бутылку ханшина.

– Господин бывший лейб-гусар, положите жидкий пироксилин на место, – погладил собаку Глеб. – А ведь мы опять могли бы выиграть сражение. Но это сакраментальное «бы...». Даже не сакраментальное, а метафизическое... Да чёрт с ним, с Куропаткиным. По грамулечке-то можно, – обрадовал офицеров и вольнопёра, который, имея богатый опыт студента Московского университета, мигом освоил ханшинную науку. – С утра артиллерия долбанула по Сандепу, но, как оказалось, из-за тумана не совсем удачно. Зато наш отряд, несмотря на туман и покрытую тонкой коркой льда почву, незаметно переправился через реку Хуньхе, и неожиданной атакой заставил японцев отступить. Видя такое положение вещей, Первый Сибирский корпус тоже перешёл в наступление.

– Однако, – нахмурился Ковзик, – как всегда, сверху приказали прекратить «самодеятельность» и перейти к обороне.

– Куропаткин боится наступать, – в сердцах треснул по столу ладонью Фигнер. – Нам бы Скобелева. Ведь Мищенко, рассудив, что может быть большой успех, обратился к командиру Первого корпуса генералу Штакельбергу с просьбой начать наступление. Тот неожиданно решил и сам перешёл в атаку, наголову разгромив японскую пехотную дивизию... Мы получили возможность окружить Сандепу. Наш отряд вышел в ближние японские тылы, посеяв там страх и панику...

– Сама обстановка требовала от командования наращивания атакующих усилий, что было понятно даже нам, подъесаулам, – для чего-то достал гранату Ковзик. – Но как только об этом стало известно..., – показал гранатой на потолок, – пришёл приказ остановиться и не ломать общую позиционную линию.

– Так ведь можно было другим корпусом перейти в атаку, чтоб линия выровнялась, – от волнения тоже схватил гранату Кусков, но, перепугавшись, тут же вернул её на место.

– Вот! Даже вольнопёр лучше Куропаткина в тактике разбирается, – поощрительно постучал по его спине гранатой штабс-капитана Лишина Ковзик, вогнав бывшего студента в смертельную бледность.

– Господин подъесаул, да уберите вы, ради Бога, взрывное устройство в корзину. Не стоит расширять кубатуру землянки, – пожалел однополчанина Глеб. – Японцы, как водится, успели подтянуть резервы, и Первый корпус с большими потерями отступил. Куропаткин назначил на этот раз виновником своей нераспорядительности не чембарцев, а самого генерала Штакельберга, который, наконец-то, научился воевать, и отстранил его от командования корпусом. Нашему отряду тоже пришлось отступить... Давайте, господа, хоть немного поспим перед завтрашним боем, – резко оборвал он грустный рассказ.

Ранним утром их разбудил сигнал трубача – собираться и строиться в походную колонну.

– Лошади подседланы, господин есаул, повысил Ковзика в чине вестовой, небрежно приложив руку к папахе.

– У нас бы в гусарском полку его под ружьё с полной выкладкой поставили, – только хмыкнул Ковзик. – Казачки – чего с них взять.

– Зато умирают красиво! – высказал свою точку зрения Фигнер.

– На молитву! Под знамя! Шапки долой! – услышали команду.

После молитвы двинулись в поход.

– Ильма, дома сиди! – приказал собаке Глеб.

– Такая же своенравная, как и казаки, – ухмыльнулся Ковзик, глядя на бегущую рядом с лошастью Рубанова собаку.

– С кем поведёшься..., – поддержал его Фигнер.

Глубокая разведка по времени заняла более суток. Разъезды дошли до железной дороги у Ляояна. Погибших не было, лишь легко раненые.

Кускову пуля пробила дублёный полушубок и оцарапала руку.

– До крови прям! – съязвил Ковзик, разглядев царапину.

– Поздравляю с боевым крещением, – улыбнулся вольнопёру Глеб. – В Мукден к Натали съездим на перевязку, – решил он. – К тому же ты ей варенье в подарок от родни привёз.

После похода, приведя себя в более-менее презентабельный вид, отпросились у командира полка съездить на перевязку в лазарет. С трудом нашли его неподалёку от Мукдена.

Лазарет состоял из нескольких палаток с короткой железной трубой над каждой, и с приготовленной для топки поленницей дров перед входом.

Рядом с поленницей хмуро глядел на визитёров красноносый доктор в драповом пальто на вате и с укутанной башлыком головой в папаше.

– Зябну! – буркнул на улыбки приезжих, указав пальцем, в какой именно палатке можно найти сестру, дабы она оказала акт милосердия.

Натали была бледная и усталая.

– Олег! Глеб! – увидев гостей, радостно вскрикнула, бросившись к ним. – Проходите, садитесь, – указала на низенькие табуретки рядом с маленьким столиком, на котором весело кипел самовар. – Олег, какими судьбами ты здесь? Как мама, отец, как тётя? – чуть зажмурив жёлтые глаза, чем напомнила Глебу кошку, в радостном волнении глядела на вольноопределяющегося в расстегнутом полушубке и сдвинутой на затылок папаше.

Обнять гостей она не решилась.

– Все шлют тебе приветы и варенье, – поднял вещевой мешок.

– А так же консервы и вот эту собаку в подарок, – указал на пролезшую в палатку Илью Глеб.

– Сплошные сюрпризы, – захлопала в ладоши Натали. – Как псину зовут? – погладила собачью голову.

– Ильмой кличут, – сел на табурет Рубанов, забрав у Кускова вещмешок и раскладывая на столе припасы.

– А молодого бойца в первом бою пуля чиркнула, – кивнул в сторону приятеля.

– Ранен? – испугалась Натали.

– Помечен! – глянув на Илью, определил состояние товарища Глеб. – Японцем, – через секунду уточнил он.

Перевязав в соседнем отсеке царапину, расселись за столом.

– Какое варенье? – вновь радостно жмурясь, спросила Натали.

– Клубничное, – открыл банку Кусков.

– Клубничное..., – прошептала Натали. – От мамы, – неожиданно расплакалась, удивив казаков.

– Ты чего? – испугался Глеб.

– Вам, мужчинам – не понять, – вытерла слёзы и улыбнулась. – Ведь варенье от МАМЫ... Она держала его в руках, – прижалась щекой к банке. – Такое чувство, что мамина рука прикоснулась ко мне.

– Японцы пишат, – откашлялся Глеб, – что у нас скоро наступление, – взяв банку у Натали, щедро наложил в чай варенья. – Божественно! Будто летом в Рубановке. Запах-то какой... И вку-ус.

– Мы так и подумали, когда нас поближе к позициям перевели, – с удовольствием пила чай сестра милосердия.

Утром начальник штаба Урало-Забайкальской дивизии, вызвав старших офицеров, зачитал приказ о намечающемся наступлении.

Но никто этому, почему-то, не поверил.

«Куропаткин и наступление – вещи суть несовместимые», – рассуждали они.

Но поверил японский маршал Ивао Ояма.

Иван – как его прозывали станичники, на два дня раньше намеченного в приказе срока ударил по позициям Маньчжурских войск, разделённых на три армии.

10 февраля японцы атаковали Цинхеченский отряд, где раньше служил Ренненкампф, и заняли Бересневскую сопку.

Генерал-адъютант Куропаткин отменил назначенное на 12 число наступление и приказал Ренненкампфу вновь принять под команду бывшие свои войска.

– Ну, начались пертурбации, – сидя в землянке после боя, рассуждали офицеры. – Скорее бы Мищенко выздоравливал. – Начальник штаба нашей Урало-Забайкальской дивизии подполковник Деникин вроде бы ничего... Грамотный офицер и в обстановке разбирается. Посмотрим, как поведёт себя вновь назначенный командир генерал Павлов.

– Мороз небольшой по русским понятиям, но ветер с утра обнаглел, – первым выбрался из землянки Ковзик.

– Не казаки, а пехтура обыкновенная, – выйдя вслед за ним, разглядывал спящие по дну глубокого окопа чёрные папахи Глеб.

Их товарищи растапливали в землянках печурки и кипятили в котелках воду.

– Пойду дневальных проверю, – зевнул Фигнер, направляясь в сторону отпряжённых повозок и зарядных ящиков у коновязи.

Потирая кулаком глаз, из командирской землянки вышел полковник, поздоровался с казаками и, перекрестившись, отдал команду:

– Под знамя!

«Всё как всегда», – строил свою сотню Ковзик.

Сняв папахи, казаки крестились и молились.

«Будто и не война», – не успел подумать Глеб, как на аванпостах послышались звуки стрельбы и разрывы снарядов.

– Три колонны, – на взмыленном жеребце подлетел к командиру полка урядник. – Обходят нас.

– К бою! – надев папаху, коротко рыкнул тот, повернув голову в сторону разорвавшегося неподалёку снаряда.

Часть казаков попрыгала в окопы, оцетинившись винтовками, другая часть побежала к коновязям.

Подошедшую колонну японцев спешенные казаки встретили дружным огнём, а с флангов её стали рубить конники.

Не ожидавшие такого отпора японцы в панике начали отступать.

– Давай, давай, Олег, вали супостата, – подбадривал товарища Глеб, размахивая шашкой. – Молодец! – заметил, как Кусков рубанул по плечу бежавшего перед ним вражеского пехотинца. – Твой дядя и капитан Бутенёв будут гордиться тобой, – стремя в стремя, шёл рысью рядом с Кусковым Глеб.

Натали, раскрыв книгу стихов Брюсова, едва касаясь, даже не гладила, а лишь осызала кончиками пальцев три засушенных лепестка кувшинки, спрятанные между страниц, что давным-давно, не понять уже в какой жизни, подарил ей Аким.

«Как он сейчас? – стёрла набежавшую слезу, оглянувшись на подругу – не заметила ли. – Наверное, забыл обо мне, – закрыла книгу, погладив обложку. – Тоже его подарок. А ещё веер», – улыбнулась, вспомнив давнюю их встречу, и укладывая в небольшой саквояж, дорогие для сердца подарки.

– Наташа, ты вот смеёшься, а к нам скоро раненые прибывать начнут, – немилосердно осудила её вторая сестра. – Старший врач сказал – по всему фронту японцы наступают.

– Я только улыбнулась. Маму вспомнила., – не решилась сознаться даже себе, что расчувствовалась, вспомнив Акима: «И чего я думаю о нём? – рассердилась на себя. – Он, наверное, с Ольгой время проводит», – закрыла саквояж.

– Сестрички, раненых привезли, – просунул в палатку голову красноносый санитар.

Раненые поступали непрерывно, и, вглядываясь в измученные страданиями лица, Натали радовалась, что среди них нет знакомых, и не может быть Акима. Потом мысленно ругала себя – ведь это русские люди...

– У нас корпия кончается, – держа пинцетом дымящую папиросу, сетовал доктор в мешковатом, в крови, халате поверх ватного пальто.

В палатке было холодно, и маленькая печурка не помогала.

– Надо послать в Мукден санитар с запиской к дивизионному врачу. Один лазарет на дивизию и нет корпии, – разбушевался доктор. – Раненый у нас получает первую помощь... А нам нечем эту самую помощь оказывать., – бросил скуренную папиросу в раскрытую дверцу печурки. – Позор, – уходя в соседнюю половину палатки оперировать раненого, произнёс он.

– Дык, генеральское сражение идёт, – смяв, засунул в печурку пучок гаоляна санитар. – В Мукден – так в Мукден, – улыбнулся, обрадовавшись каким-то своим мыслям.

«Наверное, у какого-нибудь знакомого из госпиталя, спирта полно», – направилась помогать доктору Натали.

– Окружили-и, – вбежав в палатку, завопил ездовой. – Японцы нас окружили-и. Треба уматывать, – выкричавшись, стрельнул у обомлевшего санитар папиросу, и побежал паниковать в соседнюю палатку.

– Чего тут орали? – выйдя, осведомился врач.

– Окружают, говорят, – пожал плечами санитар и втянул голову в плечи от недалекого разрыва снаряда.

– Японцы прорвались, – на этот раз в палатку влетел вестовой командира полка. – Приказано уходить к Мукдену.

– Ну вот! – рухнул на низенький табурет доктор. – Нам столько раненых привезли, что лазаретного транспорта недостаточно будет.

– К военным надо идти просить. Пушай имущество со своих повозок поскидают, а раненых возьмут, – подсказал опытный бородатый санитар.

– А ты бороду укороти... И язык, – неожиданно ожесточился доктор. – Без твоих советов разберусь как-нибудь, – поднявшись, неинтеллигентно пнул ногой табурет. – Куропаткину ступай говори, чтоб воевать научился. И борода твоя дурацкая, чуть наклонишься, в рану оперируемому лезет, – сбрасывал доктор нервы.

– А язык? – заинтересовался вдруг санитар.

– Тьфу! Пропать тебя возьми, – по-старушечьи взвизгнул доктор. – Язык вообще как-нибудь скальпелем подрежу, – нормальным голосом закончил диалог.

Приняв решение, сбросил халат и заскользил по насту к штабной палатке.

– Идите вы к чёрту, господин коллежский секретарь, – раздосадованный отступлением, послал доктора полковник.

– Это штабс-капитан по военному, – расхорохорился врач. – Не дадите повозки – вызову на дуэль, – наповал сразил полковника.

Отсмеявшись, тот приказал помочь доктору с транспортом.

Через несколько часов суеты и ругани, лазаретские подводы, скрипя по мёрзлой дороге, двинулись на новое место стоянки.

Натали ехала на второй подводе и, как могла, успокаивала лежащего раненого солдата.

– Холодно, сестричка, – жаловался он.

Натали сняла с себя пальто и укрыла умирающего.

– Холодно, – шептали его губы. – Ох, как холодно...

Сестре милосердия было не только холодно, но тревожно и грустно.

Как нарочно, заблудились. Начинало темнеть. Повозочные с трёх первых подвод ушли вперёд, осматривать путь.

«Как они видят эту дорогу? – отвлёкшись на минуту от начавшего бредить раненого, задумалась Натали, оглядывая покрытое снегом поле с многочисленными канавами и торчащими по их краям стеблями гаюляна. – Тоска и печаль, – подумала она и вздрогнула, наткнувшись на пустой взгляд умершего солдата. – И СМЕРТЬ...»

С середины февраля бои шли по всему фронту. Японцы медленно, шаг за шагом теснили русские войска.

Вечером, когда наступило затишье и офицеры собрались попить чаю, отогнув край крапивного мешка, имитирующего дверь, в шалаш из снопов гаюляна просунулась голова, и, дохнув свежим запахом китайского самогона, произнесла:

– Ваши благородия...

– Служивый, ты весь заходи, чего помещение выстуживаешь, – сделал замечание казаку сидевший у входа Рубанов.

– Здорово дневали, станичники, – растерялся посланец полкового командира, и pokrutil башкой с тёмными глазами и светлым чубом из-под чёрной папахи, ухарски сдвинутой на правое ухо.

Не найдя угол в круглом шалаше, перекрестился на отблеск света из печурки у потолка и доложил:

– Там вас к полковнику срочно кличут.

– Совсем залягали нас. Нет казакам покоя, – деланно вспылil, погладив эфес шашки Кусков, до сих пор находившийся под впечатлением боя.

Простуженный Ковзик, накинув на тулуп бурку, сипло скомандовал:

– Господа! На выход.

В палатке полковника находился начальник штаба Деникин.

– Вот, Антон Иванович, лучшие мои офицеры, – по очереди представил пришедших. – А это герой сегодняшней атаки вольноопределяющийся Кусков, – улыбнулся полковник.

– Господа, усаживайтесь как-нибудь, – указал на покрытые мешками пучки гаюляна Деникин.

И подождав, продолжил:

– Вашей сотне предстоит провести рейд к востоку от сегодняшнего бивака и записать, какие наши полки – где находятся. В боестолкновения с противником желательно не вступать. Главное – разведка. Ранним утром – с Богом, – коротко кивнул вскочившим с импровизированных кресел офицерам.

– Неразбериха с этим отступлением полнейшая, – как-то не по военному, посетовал командир полка.

Ранним утром, после короткой молитвы, в боевом порядке, выставив в авангарде и с флангов дозоры, сотня лёгкой рысью вышла в рейд.

Пройдя с десятков вёрст и переписав встреченные подразделения, слышали впереди стрельбу.

– За мной! – хрипло крикнул Ковзик, устремляясь на звуки выстрелов.

– Бой за деревушку идёт, – прищипав коня, догнал его Рубанов.

– Что за деревня? – скорчил гримасу подъесаул и громко чихнул.

– Будь здоров, господин штабс-ротмистр, – пожелал здоровья начальству. – А деревушку запиши как Юхуантунь... Во-первых, звучит не слишком скабрёзно, а во-вторых – какая разница. Всё равно скоро отступим, – пессимистически плюнул в сторону образовавшейся от взрыва воронки. – Гой ты еси, не путать с ети, Олег Владимирович... Чуешь, как пульки над головой воробышками чирикают, – попытался подбодрить несколько растерявшегося вольнопёра, и натянул удила, увидев бегущего к ним пехотного офицера с наганом в руке. – На чужой огород, что ли заехали? – всё же сумел вызвать слабую улыбку на лице Кускова.

– Господа, – запыхавшись и сглатывая сухим ртом слюну, которой не было, произнёс тот. – Сдерживаем японскую бригаду. Как вы вовремя... Командира полка убило. На несколько сот нижних чинов три офицера осталось... Из деревни нас выбили, но там тело командира и знамя, – вздрогнул от внутреннего озноба капитан.

– ЗНАМЯ?! Ну, если знамя, поможем его отбить.

– Не сомневался! Благодарю! Мы сейчас цепью пойдём, а вы чуть погодя с флангов атакуйте.

– Чёрт! Забыл спросить – какой полк, – опять чихнул Ковзик. – Всю память прочихал... Мы с партизаном отсюда атаковать станем, а ты пару взводов возьми, и с лева пойдёшь, – велел он Рубанову.

Высоко над головой зашипела и разорвалась шимоза. Слово по сигналу – два взвода отделились и налётом пошли к окраине деревни.

– Наша пехота в атаку пошла, – указал на две редкие цепи Кусков.

По мере их приближения к окраине, стрельба со стороны японцев усилилась.

Первая шеренга залегла. Над нею часто лопались шимозы. Дав залп по фанзам, цепь поднялась и побежала вперёд.

– Подравнивайся, держи дистанцию, – надорванным голосом командовал давешний капитан.

Вылетев откуда-то сбоку, бойцов стали догонять несколько патронных двуколки.

Первая шеренга вновь залегла и произвела в сторону врага прицельный залп. Вторая цепь в этот момент бежала, нагоняя первую.

Когда от разрыва снаряда двуколка наклонилась набок и исчезла в дыму, Рубанов командовал: «В атаку».

Увидя подмогу, цепи поднялись, сомкнулись и ринулись к фанзам.

В деревне уже шла ружейная перестрелка. Японская артиллерия смолкла, чтоб не попасть в своих, и рубановская полусотня с криком «ура», размахивая шашками, стала нагонять пехотинцев.

Наскоро вырытый перед фанзами мелкий японский окоп был уже в нескольких десятках шагов. Рубанов поразился и даже сдержал коня, наблюдая, как стрелки отмыкают и бросают под ноги штыки. Против каждого русского солдата, подбежавшего к окопу, торчало три-четыре японских головы и лес штыков.

Стеснённые в окопе японцы неловко действовали штыками, а наши, безо всякого «ура», лишь кхекая и матерясь, опускали на головы врага приклады, дробя черепа и круша кости.

Мёртвым японцам не было места для падения, и тела с разбитыми головами, болтаясь из стороны в сторону, пачкали кровью и мозгами живых своих товарищей, мешая им работать штыками.

От такой картины Кускова стало рвать и Глеб, взяв под уздцы его лошадь, обогнул окоп и, оставив друга размышлять об ужасах войны, бросился рубить убегающих японцев.

Казаки рассыпались, носясь по деревне за японцами. Пленных не брали – куда их девать?

От боя Глеба отвлёк дикий вопль за крупом коня. Обернувшись, увидел скачущего верхом пехотного санитаря, медленно заваливающегося вместе с подстреленной лошадью.

– Ранен? – прыгнув с коня, подошёл к нервно моргающему парню с мешком в руках.

– Спужалси! – сообщил тот, хлопая глазами и дёргая щекой.

– Ну, тогда штаны смени и раненым помогай. Чего в мешке-то? Вцепился как в портмоне.

– Медикаменты, – с ударением на букву «а», ответил он.

– Спирт е-е? – усаживаясь в седло, на всякий случай поинтересовался Глеб.

– Не-а! – с опаской прижал к себе мешок с «медика'ментами» санитар. – Только перевязочные средства'.

«Врёт, подлец», – вновь ввязался в бой Рубанов, попутно размышляя, зачем пехотинцы отмыкали штыки, краем глаза заметив выходящего из фанзы капитана.

Тот приветственно поднял руку и направился к Глебу.

Неподалёку, из сараюшки, покачиваясь от раны, выбрался пожилой японский солдат и замахнулся, намереваясь бросить в русских гранату, но ослабленная рука зацепилась рукавом шинели за штык свисающего с плеча карабина, и раздавшийся взрыв снёс японцу голову и оторвал руку.

– Ну и страху у вас тут натерпишься, господин капитан, – устало слез с коня и подошёл к офицеру Рубанов. – Знамя спасли?

– Я хочу передать его вам, дабы по прибытии доложили начальству, что мы выстояли, задержав наступление противника, – пожал руку Глебу, передал знамя, козырнул и устало направился к своим солдатам. – Спасибо! – обернувшись, на ходу крикнул он.

«Забыл про штыки спросить», – обмотавшись стягом, пока сотня строилась, вспомнил Глеб. – Как самочувствие, Олег, свет, Владимирович? – несколько снисходительно поинтересовался у Кускова: «А вон и санитар пехотный чего-то штыком колупает. Сейчас и спрошу, – подъехал к медбрату и поразился, увидев, что тот колет мёртвого уже японца. – То ли спирт из-за него разлил, то ли привиделось что со страху...» – Ты чего делаешь, убогий? – крикнул ему.

Казаки, затаив дыхание, ждали ответ.

– Так ить... Шушера желтолицая... Нешто так делают промеж честных людей... Лежишь раненый, так и лежи на здоровье... Ан нет. Пальнул по мне нехристь косоглазый... Мешок вон пробил, – под хохот казаков продемонстрировал повреждённую пулей казённую вещь, из которой чего-то текло. – Пузырь со спиртом расколотил, вражина, – констатировал неоспоримый факт санитар.

– За это стоит прибить, – поддержали его казаки.

«Тьфу ты! Опять забыл насчёт съёма штыков осведомиться... Да просто прикладом сподручнее работать, когда у ног японцы копошатся», – подвёл итог мысленным изысканиям.

– Так про полк и не спросили, – осознал упущение по службе Ковзик.

– У меня их знамя, – легкомысленно ответил Глеб, не осознавая ещё, что безымянный русский полк остался УМИРАТЬ...

Доложив начальнику штаба о рейде, Ковзик указал на Рубанова:

– Штандарт полка находится у хорунжего.

Приняв знамя, Деникин приложился к нему губами, и с трудом скрывая слёзы, произнёс:

– Приказано отступить, господа.

– А как же полк? – поразился Глеб.

– Вы слышали, Рубанов... От командира корпуса получен приказ оставить Сифантань и переходить на новые позиции, – нахмурил брови полковник. – Идите. И без вас тошно. К тому же новый командир дивизии – генерал Греков объявился. – Вестовой от их превосходительства прибыли.... Ждут-с, – с несвойственной ему долей язвительности произнёс полковник.

– Ну вот, – кое-как обустроились на новом месте офицеры, – не успел Греков отряд под команду принять, как его самого куда-то в другую часть отрядили, – вскрыл банку с консервами Фигнер. – Как там Ильма у сестры милосердия поживает? – по ассоциации с консервами вспомнил собаку.

– Ранят – узнаешь, – ляпнул Ковзик, и тут же добавил: – Типун мне на язык.

– Развалили наш отряд, господа, – хмуро произнёс Рубанов. – Раздёртали по частям. Всего десять сотен и две батареи осталось...

– То-то Мищенко удивится, когда выздоровеет, – хмыкнул Кусков. – Хаос в нашей Второй армии творится.

– Господин студент, помолчите лучше, – обиделся за честь армии Фигнер. – Привыкли там... В своих университетах... Это в вашей Москве хаос творится, коли великих князей, будто на войне, взрывают.

– Спокойно, спокойно господа... Нам ещё поспориться не хватает. Как Ренненкампу с генералом Самсоновым, – остудил горячие головы Рубанов.

– Да-а, ходят такие разговоры в армии... И Мищенко наш этого Ренненкампа терпеть не может... Я даже слышал, когда сюда ехал, что генерал Самсонов называет Ренненкампа «Жёлтая опасность», – закашлял, подавившись куском тушёнки Кусков.

– Это за сплетни вас Бог наказал, господин вольнопёр, – одобрил деяние Всевышнего Ковзик. – Я обоих генералов уважаю, правда, Александра Васильевича Самсонова немного больше... Ведь какое-то время служил у него, пока к Мищенко не перевели. Да-да, – будто кто спорил с ним, стал утверждать Ковзик. – Когда он командовал Уссурийской конной бригадой, мы вместе участвовали в столкновении при Вафангоу с конным отрядом генерал-майора Акиямы.

«Ну вот и потекла спокойная беседа, – подумал Глеб, – Бойцы вспоминают минувшие дни... чего там дальше-то... запечатывал... С Акимом встречусь – спрошу. Удосужился хоть письмо прислать... Слава Богу, Ольга на ноги его поставила.... А вот, к примеру, если меня вдруг ранят... Станет Натали ночи не спать, с того света больного вытаскивая», – задумался он, краем уха слыша:

– ... А осенью прошлого года получил под командование Сибирскую казачью дивизию, коей успешно до последнего времени и руководит.

– Имя-отчество какое замечательное... Александр Васильевич... Суворов практически, – захмыкал Кусков.

– Ну что за скубент... Вечно всё опошлит, пересмешник. – оскорбился за бывшего своего начальника Ковзик.

– Господин штабс-ротмистр... Пардон. Господин подьесаул... Вы только вслушайтесь в музыку слов... ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ, – торжественным речитативом произнёс Кусков. – Дохнуло на вас древней Киевской Русью?

– Нет! Только перегаром от вольнопёра, – отмёл величие великих киевских князей Ковзик. – У меня бо'льшая половина родни в Киевском военном округе проживает, – разве-селил компанию.

– Наверное, ваши тётушки и дядюшки с кузенами в Киевской губернии имеют честь жить... Вот привычка у офицеров Рассею-матушку на военные округа делить, а не на губернии.

Утром полковник вызвал офицеров в свою командирскую палатку.

– Всё выяснилось, господа, – с долей иронии произнёс он. – Оказывается, мы подчиняемся генералу фон-дер-Ляуницу, и должны идти на север, причём передать восемь сотен генералу Толмачёву. Так что, господа, в поход. Пойдём вдоль фронта, в двух верстах от линии соприкосновения, пока к стыку нашей и центральной армии... А дальше видно будет.

На стыке двух армий, у деревни Сухудяпу, отряд отбил атаку японцев, как написал в посланном в штаб корпуса отчёте Деникин, и стоял до подхода головной бригады.

Но в ночь, командир бригады генерал Голембатовский, без давления противника, отвёл бригаду за реку Хуньхе, и казаки с замиранием сердца наблюдали, как горят склады с продовольствием и рвутся снаряды, освещая ночное небо и грохоча на десяток вёрст.

Утром прибыл генерал Толмачёв и Павлов передал ему восемь сотен.

– Ну вот, господа, славная мищенская Урало-Забайкальская дивизия приказала долго жить, – сняв папаху, перекрестился полковник, прощаясь с офицерами.

Он, Павлов и Деникин со штабом и двумя сотнями остались не у дел.

Через несколько дней сотня Ковзика ушла в глубокий рейд по тылам противника, попала в окружение и, спешившись, отстреливалась от вражеской пехоты.

– Олег Владимирович, сейчас бы в университетской аудитории очутиться, – метнул гранату в сторону японцев Рубанов.

– А ещё бы лучше, Глеб Максимович, – прицелившись, выстрелил из винтовки Кусков, – Татьянин день отметить... Ничего-о, погуляем ещё, – вновь нажал на курок.

– Коллега, мне нравится ваш оптимизм, – выстрелил из нагана Глеб, вжавшись в землю от разрыва шрапнели над головой. – Господин вольноопределяющийся, вы живы? – поднял голову и осмотрелся.

– А что со мной сделается? Не страшнее, чем на экзаменах, – бравировал тот. – Но, по моему, нам хана, как выражаются уральские казаки.

– Или амба, по словам их коллег из сибирских полков генерала Самсонова, – бросил ещё одну гранату в противника Глеб. – Последняя, – услышал стрельбу пачками, что свойственно больше русским, чем японцам и далёкое «ура-а».

– Какое приятное слово, – плюхнулся в снег рядом с ними Ковзик. – Откуда-то наши взялись... Шляются, где ни попадя. Фигнера не видели? – пригнувшись, побежал куда-то в пургу.

Через полчаса остатки сотни обнимались с русскими пехотинцами.

– Да вы кто, робяты? – вопрошал у запорошенного снегом стрелка бедовый казак со светлым чубом из-под висящей на ухе папахи.

– Мокшанские мы. Двести четырнадцатого полка, – простужено гудел солдат. – В окружение попали, стрельбу услышали, а тут вы с врагом бьётесь. Батальон нас. Отход полка прикрывали и заплутались напрочь в этой Маньчжурии, в сопку её яти...

– Эх, метель закрутила, – поймал падающую с головы папаху казак. – А у меня лошадь убило. Пойду у начальства поинтересуюсь – седло брать или тут бросить...

Остатки батальона и сотни укрылись в распадке, дно которого покрывал глубокий снег. Ковзик послал взвод на рекогносцировку.

– Это, наверное, последняя сопка из гряды. Мы-то шли сюда по равнине, – делился он знанием местности с комбатом. Чёрт знает, куда занесло, – наблюдал, как солдаты и казаки роют в снегу ямки и укладываются в них.

Чубатый казак, расковыряв сугроб до самой земли, разложил костёр.

– Сейчас, ваши благородия, чайком побалуемся... Ежели заварки, конечно, дадите. Снег для воды мой, заварка – ваша, – накладывал в чайник снег.

Рубанов залюбовался окружающими распадок соснами, ветви которых гнулись от нависшего на них снега: «Если заорать – эхо до самого Мукдена дойдёт, – мелькнула в голове ребяческая мысль. – А комбат прикажет расстрелять», – увидел скачущий к ним разъезд.

– На равнине японцы, – доложил командовавший разъездом старший урядник.

– Дорога одна – обойти их по сопке, – указал вверх, на величественный зимний лес, комбат, обращаясь, в основном, к Ковзику. – Ночью пойдём, – решил он. – Метель здесь переждём, люди и так намаялись... Пусть отдохнут. Вы с нами, господа? – глянул на подьесаула.

Тот надолго задумался.

– Одни не пройдем, к тому же у половины казаков лошадей поубивало.

– Как так? – удивился пехотный подполковник. – Специально по лошадям, что ли, японцы стреляли.

– Никак нет, ваше благородие, – встрял в разговор чубастый казак в съехавшей на ухо папахе. – Лежачими лошадьми прикрывались и отстреливались, – скрипнул зубами, вспомнив своего рысака.

«Никакой дисциплины у этих казаков», – пожевал губы комбат, но ничего не сказал.

– А склон сопки льдом покрыт, – негромко произнёс Кусков.

– Чего? – переспросил Фигнер.

– Вершина сопки обледенела, – на повышенных тонах пояснил партизану. – Обратно и скатимся как в детстве на санках.

– Потихе, господин вольноопределяющийся, – сделал замечание пехотный офицер. – Враг рядом, а вы кричите.

– Услышит он при таком ветре, – стал спорить с ним Кусков.

«Никакой дисциплины», – махнув рукой, пошёл к своим солдатам комбат.

– Это безумие... Ночью лезть через гору, – бурчал Фигнер. – И лошадей бросить пришлось.

– Господин Фигнер, партизанские тропы – ваша стихия, – с трудом бредя по всё сужающейся тропе и глубоко проваливаясь в снег, пытался шутить Рубанов. – Ваш предок внимания бы не обратил на такие пустяки, как обледенелый склон или сломанная нога. Влез бы на одном дыхании.

Утром спустились с горы и немного отдохнули, определяя на слух, в какой стороне раздаётся стрельба.

– Ну вот, Альпы пересекли и гномов не видно, – вошёл в прекрасное расположение духа Фигнер, продолжив после короткой стоянки поход.

– Зато из кавалеристов превратились в пехоту, – ворчал Кусков, подвернувший во время перехода ногу. – Пора бы и привал сделать, – не слишком вежливо обратился к пехотному офицеру.

«Не дисциплина, а чёрт те что», – обиженно засопел подполковник, в сердцах протацив отряд ещё несколько вёрст до брошенной китайской деревушки.

Выставив посты, отдохнули, подкрепившись сухарями, и двинулись дальше, обходя большие деревни, пока не услышали впереди винтовочные выстрелы и не нарвались на полк японских солдат, штурмующих занятое русскими селение.

Не ожидавшие нападения с тыла, японцы были разбиты, и потеряли два пулемёта с боекомплектом.

Соединившись со своими, расположились отдыхать в полуразрушенных фанзах, отрядив чуть не треть живой силы на окраину деревни, где оказались практически нетронутые склады.

– Берите, сколько в силах унести. Пришёл приказ отступать, предварительно уничтожив имущество, – удивлял всех щедростью интендантский офицер.

– Лошадей нет, – страдал казак с папахой на ухе. – Овёс, горы сена и всё сожгут, – набрал муки, риса и мешок сухарей.

– И как всё это потащишь? – изумился Рубанов, с аппетитом грызя сухарь и безразлично глядя то на набитые припасами мешки, то на голые ветви деревьев.

– С вами пойдём, – сидя в фанзе, пили чай с сухарями Ковзик и комбат. – Мищенковский отряд распался, и ваш полк легче найти, чем штаб нашей несуществующей Урало-Забайкальской дивизии. А там видно будет... Может, к Ренненкампу присоединят. Совершеннейший бардак и неразбериха в армии...

«Кто бы говорил, – осудил подьесаул с его воинством комбат. – На себя бы поглядели, а то – никакой дисциплины-ы», – мысленно поёрничал он.

На рассвете следующего дня остатки батальона мокшанцев воссоединились с полком.

Бои шли уже под самым Мукденом.

– Разрешите представиться, господин полковник – подьесаул Ковзик из отряда генерала Мищенко... А это мои офицеры. Доложите о нас в дивизию, а пока разрешите остаться с вами.

– Командир Двести четырнадцатого Мокшанского полка Побыванец Павел Петрович, – протянул руку подьесаулу, оправив потом окладистую бороду. – Прошу вас представить список личного состава и рапорт о проделанном походе. Русская армия отходит, а мы вошли в состав арьергарда и прикрываем отступление войск из Мукдена, – отпустил офицеров.

Не успели расположиться и оглядеться, как начался бой.

Подошедшие к японцам подкрепления сначала открыли бешеный артиллерийский огонь, а потом пошли в атаку.

Казаки наравне с пехотой сидели в окопах, отстреливаясь от врага.

– Боезапас кончается, господин полковник, – увидел командира полка Ковзик.

– Получен приказ отходить... Патроны взять негде. Начнём пробиваться штыками. Знамя и оркестр – вперёд! – выпрямился во весь рост под несмолкающим обстрелом и разрывами шимоз. – Где капельмейстер? Илья Алексеевич, голубчик, строй своих музыкантов рядом с полковым знаменем. В штыковую, братцы, за мной, – повёл полк в последнюю атаку, не обращая внимания на разрывы снарядов и свист пуль.

Музыканты заиграли марш полка.

– Казаки, братишки, вперёд, – повёл три десятка оставшихся в строю казаков в штыковую атаку Ковзик.

«Так и Аким когда-то с полком пробивался, а теперь мне пришлось», – хрипя пересохшей глоткой «ура», отбивался от наседавших японцев подобранной винтовкой с примкнутым штыком Глеб. – Кусков, не отставай, – махнул рукой другу.

«Полковник уби-и-т», – услышал крики мокшанцев.

Разъярённые пехотинцы потеряли уже ту мысленную грань, что разделяет жизнь и смерть... Были они... И был враг, которого следует уничтожить. А оркестр вдруг заиграл вальс «Ожидание». Уже даже не оркестр, а семь оставшихся музыкантов. Не боевой марш, а лирический вальс... Голос из прошлой жизни... Где остались любимые... Дом... Семья...

И чтоб вновь увидеть всё это надо УБИВАТЬ...

И убивали... Яростно... Безжалостно...

Разум не боялся смерти... Разум в эти минуты хотел убивать... И хотел жить... ЖИЗНЬ и СМЕРТЬ... И вальс «Ожидание...».

В музыке звучала надежда... Звучала жизнь...

Глеб вспомнил Натали... Её жёлтые глаза... И чтоб увидеть их ещё раз хрипел что-то неразборчивое... Как и другие. Без устали круша штыком человеческую плоть... Плоть ненавист-

ного врага... Он полностью познал – что такое ненависть... Что такое – жизнь... И что такое – смерть...

Японцы, столкнувшись с яростным безумием, вначале растерялись, потом стали отходить и, наконец, побежали.

Полк пробился из окружения.

Японцы не решились преследовать этих окровавленных, обезумевших людей, умиравших и убивавших под томные звуки какого-то русского вальса...

– Кусков, живой? – постепенно начал приходить в себя Глеб. – А где Ковзик? – осёкся, увидев как тот, шатаясь от напряжения, тащил на плечах Фигнера. – Давай помогу. Он ранен?

– Уйди! Сам справлюсь... – с трудом переставляя ноги, нёс на себе товарища, голова которого безвольно моталась на расслабленной шее, а открытые глаза глядели уже в пустую бесконечность...

И то ли здесь, на земле..., в густом сером дыму, то ли где-то там, в небе, в синей его выси, Глеб слышал звуки вальса. А может, он звучал у него в голове... Или в сердце... Или в напряжённых нервах...

Мандаринскую дорогу запрудили отступающие войска и обозы.

Скинув с артиллерийской запряжки, которую катили шесть коней-тяжеловесов, какие-то вещи, Ковзик устроил на ней тело погибшего друга, и, держа в руке наган с пустым барабаном, мрачно шёл рядом, не обращая внимания на шум, гам, сутолоку, ругань и крики повозочных.

По мёрзлой, с вытоптанном снегом земле, с краю дороги, потоком текла пехота. В стороне от них, на измотанных тощих лошадях, безо всякого строя, шли эскадроны и сотни.

Следом за артиллерийской упряжкой, чуть позади Ковзика, цепляясь ногами за камни и выбоины, брели Рубанов с Кусковым.

Глеб, сжав зубы, наблюдал, как подбесаул заботливо поправляет одеяло, коим укрыл друга. И вдруг увидел повозку с намалёванным красным крестом, и на ней Натали.

Сначала подумал, что это морок: «Не можем мы вот так неожиданно встретиться?!» А в голове вдруг раздался звуки вальса, что выдувал духовой оркестр из семи музыкантов.

Натали, как ему показалось – нереально плавно и замедленно выбралась из повозки и, глядя сухими, воспалёнными от бессонницы глазами, как-то неуверенно побежала к артиллерийской упряжке с укрытым одеялом телом.

– Ранен? – ровным, безмерно уставшим голосом спросила у Глеба, не выказав удивления от встречи.

И на отрицательное покачивание головой, с дрожью произнесла:

– Кто? – Хотя и сама уже догадалась, видя оставшихся в живых казаков.

– Димка Фигнер, – зашмыгал носом Кусков.

Подойдя к убитому, Натали жалостливо погладила давно остывшее тело.

Ковзик не обратил на неё внимания, как не обращал внимания на грохот и шум, будто на всей дороге были только он и его погибший друг.

Скрывая даже от себя неуместную в данный момент радость, Глеб осторожно взял Натали под локоток и немного отстал от артиллерийской упряжки.

Растерявшись и не зная с чего начать разговор, вспомнил о собаке.

– Натали, что-то я не вижу Ильму? – с удовольствием ощутил у засаленного своего полубубка женскую руку, подумав, что жизнь продолжается, если рядом любимая девушка. В том и заключается парадокс, что именно за это чувство он и убивал под звуки вальса «Ожидание».

«Как они с Акимом в первую встречу всегда оригинально одеты», – покосилась на драные сапоги и с вылезшим мехом папаху. – Ильма поймала зайца и пошла на кухню, распорядиться, чтоб приготовили: «Боже, что я говорю... Или просто счастлива его видеть?» – Я её отмыла

после пребывания в вашем полку и откормила... Не узнаешь псину, – затараторила, отчего-то тоже застеснявшись... – У меня раненый на подводе, мне пора, – с некоторым усилием высвободила руку. – Позже увидимся, – помахала обернувшимся к ним Кускову и пошла к санитарной двуколке.

– Японовская земля... То – яма, то – канава, – морщась от боли, встретил её раненый. – Сестричка, дай попить, – попросил её.

Держа кружку у губ раненого, она подумала, что при встрече с Глебом сердце так не колотится, как при встрече с Акимом.

Не долечившийся от ран генерал Мищенко вновь вступил в командование Западным конным отрядом, с трудом формируя боевую единицу из полков, разбросанных по всему Маньчжурскому фронту.

И тут пришла новость, что в далёком Петербурге император собрал военный совет из генералов: Драгомирова, Гродекова, Роопа для решения вопроса о командующем.

– Тон задал Драгомиров, – в деталях, словно сам там присутствовал, рассказывал окружившим его офицерам Кусков. – Я не люблю куропатку под сахаром, – заявил императору и генералам Михаил Иванович. Монарх, зная эксцентричную натуру своего генерал-адъютанта, посмеялся и снял Куропаткина с должности, поставив вместо него папашу Линевича.

– Променяли шило на мыло, – пришли к выводу офицеры.

Русская армия остановилась на Сипингайской позиции.

Тело подъесаула Дмитрия Серафимовича Фигнера друзья предали земле на харбинском кладбище.

В апреле русские войска полностью восстановились и были готовы к новым боям.

Из России составы каждодневно везли подкрепления и вооружение.

– Да подумаешь, Ляоян с Мукденом потеряли и лесные концессии на реке Ялу, – философствовал начитанный Кусков. – В 1812 году Москву оставили, а француза всё равно победили. Кутузов в таких же годах был, как и Линевич... Но голова работала...

– Может и Линевичу следует глаз выбить, на пользу отечеству, – высказал своё видение будущей победы Глеб.

– Но-но, Рубанов, не забываетесь. Вокруг вас не одни студенты, но и верные воины царя-батюшки, – сделал ему выговор Ковзик, начавший приходить в себя после гибели друга. – Сипингайская позиция для Линевича – то же, что Тарутинский лагерь для Кутузова. Отъедемся, отоспимся и в бой.

– Как бы так не получилось, что только отъедемся-отоспимся, – возразил Кусков, покрыв анненский темляк на шашке.

– Вам, господин бывший студент, царь клюкву пожаловал, чтоб от кислоты челюсти свело и говорить не хотелось, ан нет... Несёте бог весть чего...

– Это оттого, что третью степень хочется, – погладил новенький орден на груди Рубанов. – Осталось Владимира получить – и брата догоню, – вывернув шею, с гордостью оглядел три звёздочки на погонах. – Сотником стал, что равно армейскому поручику.

– А вы, господин сотник, язвите оттого, что неприятель ваш любимый городок Бодун занял... Наслышаны про ваши похождения-с, – огрызнулся Кусков.

Сказать что-либо Ковзику не посмел.

– Бодун жалко, спору нет, – взгрустнул Глеб, но у нас ещё Харбин остался... А за ним Владивосток и все другие города по железнодорожной ветке транссибирского экспресса. Что-то нехорошо вы хихикаете, господин вольноопёр, – осудил он товарища.

– Это я сейчас вольнопёр, а вот подготовлюсь, сдам экзамены экстерном за Николаевское кавалерийское училище и корнетом стану, – вдохновился Кусков. – Вы поднатаскаете меня по некоторым дисциплинам, господин подъесаул? – обратился к Ковзику.

И на утвердительное кивание начальской головы поинтересовался:

– Господа! А была ли пощёчина генерала Самсонова генералу Ренненкампу после Мукденского сражения? Казаки балагурят, что была.

– А вы слушайте их больше, мсье Кусков, – улыбнулся Рубанов. – Ещё ни то услышите.

– А что ещё? – затаил тот дыхание.

– Ну-у, что папашка Линевиц укусил генерала Сахарова...

– Ага! Дёснами, – захохотал Кусков. – В это я не поверю.

– Пощёчины не было, но повздорили, – командирским басом завершил спор Ковзик. – За пощёчину дуэлью расплачиваются... В их судьбе так получается, что всю военную карьеру неподалёку друг от друга служат. Сначала в Ахтырском полку Александр Васильевич Самсонов служил, а в 1895 году этот полк получил под командование Павел Карлович Ренненкамф. Сейчас он командует Забайкальской казачьей дивизией, а Самсонов – Сибирской. Из ахтырских гусар казаками стали... Чего им драться-то?

– Февральские и мартовские газеты пришли, – потряс толстенной кипой Глеб. – Пишут, что учреждён Совет Государственной Обороны. СГО, если коротко. Коллегиальный орган, в который вошли: военный министр и начальник генштаба. Морской министр и начальник морского генштаба. А возглавил Совет Обороны великий князь Николай Николаевич... Та-а-к. Что ещё интересного? В начале марта уволен с должности Лопухин.

– Это что за фрукт? – удивился Ковзик.

– Полицейский чин, что прохлопал события девятого января.

– Да пёс с ним, что про нас-то пишут? – заинтересовался подъесаул.

– Сейчас найду. Вот, – развернул газету Рубанов: «В бою под Мукденом были окружены несколько рот 55-го пехотного Подольского полка. Командир полка полковник Васильев передал знамя ординарцам, чтоб вынесли его к своим. Роты прикрывали их отход. Погибли все. Васильева японцы подняли на штыки, но стяг не попал в руки врага».

– Молодцы подольцы, – похвалил полк Ковзик. – Мы вот тоже знамя пехотного полка вынесли, хоть бы кто написал об этом. Ну, что там ещё?

«При отступлении от Мукдена 1-й Восточно-Сибирский стрелковый полк вышел из боя с японцами в составе 3-х офицеров и 150 нижних чинов. Но сохранил знамя.

– А в Мокшанском полку сколько осталось? И никто не напишет... Обидно... Героически дрались, а в России о мокшанцах никто не узнает... И про Фигнера никто не вспомнит, – расстроился он.

– Бог узнает. У него там всё записано, – отложил газеты Глеб. – И мы всю жизнь будем помнить...

Наступила Пасха.

– Это ж надо? – возмущался Кусков. – Куриных яиц не достанешь, – оглядел аккуратные ряды палаток и коновязи в вёслах.

– Зато тепло, как у нас летом, – нашёл положительный штрих Рубанов, посмотрев в ультрамарин неба с белесыми облаками, и полюбовавшись потом ромашками в зелени трав: «Становлюсь лирическим, как старший брат. Я воин, а не поэт».

И тут запел соловей... На душе стало тепло и приятно...

– Господа! Христос Воскресе, – преподнёс друзьям по гранате капитана Лишина.

– Воистину Воскресе, – воскликнул Кусков, одарив товарищей фиолетовыми в крапинку перепелиными яичками. – У китайцев купил, – прояснил ситуацию. – Там ещё яйца куропатки были, но неприлично как-то... Сами понимаете... Командарм всё-таки.

– Чего же теперь, и куска сахара не съесть, коли генерал Сахаров штабом Маньчжурской армии руководил, – подбросил дарёное яичко Ковзик. – Ну а я вам дарю своё начальское – благодарю... В рифму получилось, – хохотнул подьесаул. – И по коробку спичек в придачу.

– День такой! На стихи тянет. А не могла бы ваша благодарность, Кирилл Фомич, выразиться как-то более весомо...

– Обоснуйте, уважаемый Глеб Максимович, – вновь подкинул яичко Ковзик и не поймал.

– Пока нет японских поползновений, не могли бы вы отпустить меня в лазарет, поздравить с Пасхальным днём одну особу, а вольноплёра в это время, обременить каким-нибудь делом...

– Это я могу, – искал в траве яичко Ковзик.

– Господин подьесаул, вы не находите, что приняли весьма неприличную позу во время разговора с людьми.

– Этой позой я выражаю своё отношение к студентам, – распрямился он, найдя, наконец, яичко. – Да идите, господин сотник, в свой лазарет, пока господин Кусков уставы учит.

– Какие на Пасху уставы? – взвыл вольноплёр.

– Избитая солдатская шутка, – успокоил его Ковзик, радуясь тишине, без стрельбы и взрывов, и наслаждаясь запахом травы, смешанного с дымом далёких костров полковых кухонь. И звон цикад, и пение соловья, и оживлённый говор казаков у колодца: «Что может быть приятнее мирного военного лагеря? Разве что – парад...».

Бредя по заросшей травой тропинке, Глеб прошёл обнесённую земляными стенами бедную китайскую деревушку, где на пыльной улице топтались местные жители в коротких штанах и широкополых соломенных шляпах.

Миновав зелёные посадки гаоляна и бобов, углубился в тополиную рощу, на поляне которой расположились палатки лазарета.

Мрачный трезвый санитар на вопрос о Натали тоскливо махнул рукой в сторону озера.

– Чего это с ним? – поинтересовался Глеб, наткнувшись у санитарных подвод на доктора.

– Спирт разлил! – обрадовано произнёс тот. – Пусть в праздник тверезым походит и узнает, что такое военный аскетизм.

Пробравшись сквозь низкорослый кустарник, у которого кончалась тропа, Глеб увидел озерцо в тени деревьев и у маленького, приятно журчащего родника, читающую Натали в сером холстяном платье с белым передником поверх него.

Платок лежал рядом на траве, открыв взору офицера прекрасную голову в обрамлении чёрных волос.

– Сестрица, Христос Воскресе! – преподнёс букет ромашек и три перепелиных крашенных яичка.

Лёгкий тёплый ветерок принёс откуда-то слабый запах горелой соломы и звук вальса «Ожидание» из далеко игравшего граммофона.

На другой берег прудика вышел китаец в синих коротких штанах и, зайдя по колено в воду, стал поить ушастого ослика, обмахиваясь конусной соломенной шляпой.

Глеба с Натали он не заметил.

Зачерпнув ладонью воду из родника и пригубив её, Натали легко поднялась, уронив с колен раскрытую книгу, и со словами: «Воистину Воскресе», – поцеловала офицера холодными и влажными от родниковой воды губами.

Но Глебу они показались горячими и сладкими.

– Всё-всё-всё, – коснувшись указательным пальцем его губ, уселась на примятую траву и подняла книгу.

А в душе у Рубанова звучала музыка... Даже не музыка, а какой-то трепетно-нежный мотив, то грустный, как прощальный журавлиный крик, то радостный, как песня жаворонка в синем небе. И почему-то виделась жёлтая роза на клавишах рояля...

И вновь полились звуки вальса. А рядом жёлтые глаза, смеющиеся губы, озерцо, родник и зелень травы с ромашками... «Боже, – подумал он, – вот так и начинается любовь...»

Китаец, напоив ослика, ушёл, и одни остались одни...

– Ну почему я учился играть на балалайке, а не на благородной гитаре, – воскликнул Глеб. – Сейчас бы исполнил песнь о любви.

– А что можно исполнить на балалайке? – подняла ладонь Натали, приглашая медленно летящую бабочку сесть на неё.

– Балалайка может разрушить пять пудов чеховской любви и привлечь вашего красно-носого санитаря. Кстати, он разлил спирт и, безмерно страдая, совершенно трезв, как и я, – отогнал пчелу, а заодно и красочную бабочку.

– Ну вот! – огорчилась Натали. – Вы испугали мою бабочку. Чтоб искупить вину, исполните что-нибудь балалаечное, – вздрогнула, услышав бодрый напев популярной маньчжурской песни:

Может завтра в эту пору
Нас на ружьях понесут,
И уж водки после боя
Нам понюхать не дадут...

– Как вашему санитарю, – напрочь перечеркнул он лирический настрой.

– Вы не только бабочку, вы и меня напугали, – увидели во всю прыть несущуюся к ним Илью.

– А что изволите читать, Наталья Константиновна? – потрепав псину, поинтересовался Глеб.

– Граф Сергей Рудольфович Игнатъев презентовал книгу рассказов Леонида Андреева, – повертела в руках томик. – К доктору недавно его друг приезжал, врач Вересаев, так они очень нелестно отзывались о рассказе «Красный смех», – нашла нужную страницу.

– Никогда о таком авторе не слышал, – без интереса глянул на книгу Глеб, и для смеха продолжил: – Пушкина знаю, Лермонтова знаю, этого, как его, Гоголя, а Андреева не знаю... Это брат мой – знаток отечественной словесности, – не заметил, как дрогнула рука Натали, и она непроизвольно вздохнула. – Чем, интересно, эскулапам не понравился рассказ?

– Повежливее, господин казак, с господами врачами, – улыбнулась девушка, отбросив мысли об Акиме. – Как поведал потом доктор, его друг раскритиковал андреевский «шедевр», повествующий о дурацком смехе, присутствующем у воевавшего с японцами в Маньчжурской армии офицера.

– Эх-ма! И у меня иногда дурацкий смех пробивается, – опешил Глеб.

– У вас не такой. У вас от наивности души, а у героя рассказа от истрёпанных нервов, вызванных испугом от боёв.

– По Андрееву выходит, что и бабочка, которую я напугал, сейчас летает и ржёт...

– Ход мыслей достоин учёного-ботаника, но не совсем. Вересаев, видимо, хороший психолог. По его словам, упущена из виду самая странная и самая спасительная особенность человека – способность ко всему привыкать. Это произведение художника-неврастеника, больно и страстно переживающего войну через газетные корреспонденции о ней. Из газет-то он и узнал, что у нас тут очень жарко, в сравнении с Петербургом, и к тому же стреляют...

В Петербурге тоже стреляли...

Неразлучные как братья Шотман с Северьяновым, покинув конспиративную квартиру на Литейном, ехали в «дымопарке» за Невскую заставу, где назначили занятия с обуховцами и александровцами. Кубической формы небольшой паровозик нещадно дымил, особенно сильно отравляя пассажиров первого из четырёх красновато-бежевых вагонов, где и расположились революционеры.

– Все собрались? – умывшись с дороги, жёстко глянул на молодых рабочих Шотман. – Тогда начнём. Сначала теория. Вы знаете, что перемирие с царской властью после девятого января невозможно, о чём ясно высказались делегаты только что прошедшего в Лондоне Третьего Съезда РСДРП. Меньшевики в это время провели свою гнилую партконференцию в Женеве, на которой присутствовали всего семь партийных организаций. А нас уже восемь тысяч, – оглядел внимательно слушающих его рабочих. – Но у царя много сторонников. В газетах пропечатали, что на Пасху Николай христосовался в течение часа с придворными служителями... Почти шестьсот человек. А на следующий день в Большой галерее Зимнего дворца христосовался со свитой и охраной – ещё девятьсот человек. Эти все будут за него. А мы, пока он целуется, будем заниматься делом... Большевики поставили задачу сплочения левых сил по принципу: «Врозь идти, вместе бить». И считают, что союзником пролетариата может быть только крестьянство. После свержения царизма и всех, кто с ним лобызался, власть должна перейти к временному революционному правительству, призванному созвать Учредительное собрание. Также в резолюции съезда рекомендованы совместные действия с эсерами, при сохранении, конечно, идейной и организационной самостоятельности нашей партии.

– А вот меньшевики, – взял слово Северьянов, – считают, что не мы, рабочие, а либеральная буржуазия должна взять власть в свои белые ручки..., – рассмешил пролетариев. – Так что если на горизонте появится этот женевский Муев, гоните его обратно в Женеву... Ведь они там до чего договорились? Будто у пролетариата недостаточный уровень организованности и сознательности, вот и разубедите его в этом, организованно и дружно шуранов пинками с завода, когда придёт агитировать за буржуазию и интеллигенцию..., про которую известный писатель Чехов сказал: » Я не верю в нашу интеллигенцию, лицемерную, фальшивую, истеричную...». А Владимир Ильич назвал её просто – гнилой..., – подождал, когда народ отсмеётся, просморкается, прокашляется и продолжил: – Основная цель нашей боевой дружины – к моменту выступления уметь обращаться с оружием. Как мне ребята сказали, в паровозоремонтном цехе Александровского завода чуть не в открытую куют ножи, кинжалы, пики, отливают кастеты и металлические прутья... Это хорошо, но мало. Потому-то партия на деньги сочувствующего нам буржуя Морозова, писателя Горького и других попутчиков, закупает стрелковое оружие в Финляндии и небольшими партиями доставляет сюда, – вытащил из кармана наган и на глазах боевиков снарядил патронами барабан. – А сейчас, друзья, пойдёмте на наше место за железной дорогой, рядом с болотом, и поупражняемся в стрельбе.

– Когда вступим в дело, – шагая среди дружинников, учил молодёжь Шотман, – не палите в белый свет, как в копеечку... Врага следует выцеливать. Берегите патроны. На бегу лучше не стрелять. Остановитесь и прицельтесь. И старайтесь выстрелить первыми. Как только увидите офицера – валите его, а потом открывайте огонь по солдатам или полиции.

– Солдаты, может и убегут, а вот казаки в сию минуту до нас долят...

– Орловский? – улыбнулся Северьянов, разглядывая чем-то похожего на него, курносого и конопатого парня.

– Оттуда! – не стал отпираться дружинник.

– Дрищенко, под твоё начало его отдаю. Поставь у болота сторожить, пока в стрельбе тренируемся.

– Чичас! – чему-то обрадовался Гераська. – Как зовут?

– Някалай!

– Гы-гы! Бяда с тобой, – миролюбиво передразнил парня, с уважением оценив широкие плечи и мощные лапищи. – Сколь годов-то?

– Восемнадцать.

– Гы-гы! Някалай, а правду люди говорят, что орловцы смятану в мяшках нясут?

– Что нясут, то нясут, – не стал отказываться от сметаны парень, нисколько не обидевшись на старшего товарища.

– Герасим, – протянул ему руку Дришенко и гыгыкнул, услышав:

– Понял, чо Герасим...

– Стой тут, якалка, а как чужих заметишь, солдат особенно, к нам беги.

– Прибегу! – согласно покивал молодой рабочий.

Не успели дружинники расстрелять по царскому портрету, служившему мишенью, весь боезапас, как услышали неподалёку:

– Бяда-а! Бяда-а! Солдаты бягут, – увидели машущего руками конопатого Николая.

– Наверное, в Зимнем дворце слышали, – хмыкнул Шотман, убирая в карман револьвер. – Уходим, ребята. А ты, Дришенко, постепенно обучай орловца, – побежал вслед за рабочими по хлипким сгнившим доскам в глубь болота, с удивлением заметив, как орловец шустро обогнал его, брызгая грязью из-под трухлявых досок.

– Силён рысак! – пыхтел сзади Дришенко.

– Ребята, через перелесок, в огороды бегите, а там и дома предместья начинаются, затихайте у кого, – хлюпая башмаками, замедлил бег Шотман. – Давай, Гераська, часть досок с тропы разбросаем, – достав револьвер, выпустил остаток обоймы в мелькнувшую белую гимнастёрку с красными погонами и улыбнулся, услышав болезненный вскрик. – Получил, орясина, вишнёвую косточку в брюхо, – споро раскидывал за собой грязные доски и жерди.

Аким, держа под руку Ольгу, стоял у бордюра питерской мостовой, намереваясь перейти на другую сторону.

Извозчика они отпустили, решив прогуляться и подышать пряным воздухом тёплого майского дня.

– Мадемуазель, как полагаете, к вечеру перейдём мостовую или тут заночуем? – улыбнулся даме, получив ответную улыбку.

Рядом с ними по брусчатке проносились одноконные и пароконные экипажи. Рыча моторами, пыхали дымом входящие в моду авто и, цокая копытами, ехали двухколёсные открытые экипажи без кучера, с одним седоком, называвшиеся весьма точно – «эгоистки».

– Чуть шею не вывернул, эгоист, на вас, сударыня, заглядевшись, – прижал руку дамы к белому кителю. – Вы действительно выглядите весьма элегантно в этом тёмно-синем жакете с модной, чуть расширяющейся к низу юбкой, будто прибыли из Парижа, а не Рубановки, – вновь потискал локоток.

– А все эти глазастые шофёры в сдвинутых на лоб очках и кепочках «здравствуй-прощай» не знают, что совсем недавно, в забытой богом деревне, вы сами, без парикмахера завивали волосы щипцами и «притирались»... Мадам Светозарская учит, что говорить «красились» – не этично, – получил локотком в бок и замолчал.

– Давайте, сударь, закроем глаза и перебежим на другую сторону, – смеясь, предложила Ольга.

– Опасно. Могут задавить, – вновь потискал локоток Аким.

– Не менее опасно, чем стоять здесь. Потому что я могу вас убить, – смело повела его по брусчатке мостовой. – Ну, вот видите, господин поручик, перешли.

– На войне не так страшно было, – улыбаясь, поцеловал её в щёку. – О-о! Выставка общества любителей комнатных растений и аквариумов. Зайдём? Я обязан купить мама экзотических рыб и герань.

– Тогда уж лучше зайти в парфюмерный магазин товарищества «Брокар и К°», – хихикнула Ольга. – И купить мама духи. Видишь, на рекламном плакате прекрасная женщина в шляпе и воздушном белом платье прижимает к сердцу цветы...

Во-первых, не к сердцу, а к груди. Во-вторых, ей бы больше подошёл синий жакет. В-третьих, если бы нас увидел полковник Ряснянский, то попенял бы мне в портретном зале полка, почему я шляюсь по Питеру пешком, а не езжу в экипаже... Нарушая этим гвардейские заповеди. А как бы хотелось пригласить вас в пристанционный буфет и угостить водочкой с пивом...

– Может, лучше в ресторан? – улыбнулась в ответ Ольга.

– А пойдём вечером в Буфф?! – каким-то своим мыслям обрадовался Аким. – Вот уж повеселимся на славу...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

